ГЕОРГИЙ БАЖЕНОВ

ОГОНЬ НЕБЕСНЫЙ (СБОРНИК)

Георгий Баженов

Огонь небесный (сборник)

«Баженов Георгий Викторович»

2008

ББК 84(2РосРус)6

Баженов Г. В.

Огонь небесный (сборник) / Г. В. Баженов — «Баженов Георгий Викторович», 2008

ISBN 978-5-7117-0058-6

Книга Георгия Баженова «Огонь небесный» – это не совсем обычная проза автора: здесь и легенды современной жизни, и путешествия героев по ту сторону бытия, и городские мифы, и полёт персонажей во сне и наяву, и рождающиеся на глазах были, сказания о любви, урбанистические пасторали и даже мифологические бурлески. Но все произведения объединены главной идеей: герои находятся в поисках любви, смысла жизни и приятия её тайн. Читайте и наслаждайтесь, дорогие друзья.

ББК 84(2РосРус)6

ISBN 978-5-7117-0058-6

© Баженов Г. В., 2008
© Баженов Георгий Викторович, 2008

Содержание

Сон Алёши 5
Огонь небесный 19
Дарья-бессмертная 23
Ловушка для Адама и Евы 28
Конец ознакомительного фрагмента. 45

Георгий Баженов
Огонь небесный. Легенды, были, мифы

Сон Алёши
Путешествие по ту сторону

Сергею Залыгину, писателю и учителю

…Алеша постоял немного у реки, посмотрел на воду, послушал, как река шумит от ударов дождя, и направился в шалаш; в спину тепло светило солнце. Некоторое время он сидел в шалаше, наблюдая, как под далекие раскаты грома раскидывается в полнеба радуга-дуга. Дождь стих так же быстро, как начался; Алеша вышел из шалаша под радугу, тихо улыбаясь; и вдруг на том берегу Чусовой он увидел Надю.

«Надя, Надя!..» – закричал он радостно и побежал к реке. Он видел, как она, присев, рвала в траве цветы, присоединяя их к букету; с Надей были какие-то девушки, вероятно, ее подруги, которых Алеша не знал. Надя казалась грустной, подруги старались развеселить ее, смеялись, вызывали ее на разговор, но Надя молчала, а смех и шутки подруг мешали ей услышать Алешу. Тут из небольшого ельничка выбежал светло-коричневый, с белой звездой во лбу, веселый теленок; смешно взбрыкивая ногами, он побежал к Наде, ткнулся мордой в букет. Надя не испугалась, начала играть с теленком, а он ласково бодался безрогим лбом. Алеша испугался, что Надя теперь совсем не заметит его, закричал что было сил: «Надя! Надя!..» Кто-то из подруг заметил Алешу, показал Наде в его сторону. Надя поднялась, отбросила букет в сторону и побежала к реке. Тут же за ней помчался теленок, заскочил прямо в воду, присел на колени: садись. Не раздумывая, Надя села на теленка верхом, теленок оттолкнулся ногами от илистого дна и поплыл, высоко задирая морду. Они плыли прямо к Алеше; Алеша двигался им навстречу, зайдя в воду почти по пояс. Вдруг теленок как бы вырвался из воды (от радуги и солнца стекающие с него капли сверкали ярким блеском) и полетел над рекой, набирая высоту и скорость. Алеша смотрел на теленка, задирая голову, пятясь из воды, и, когда теленок с Надей пролетели над ним, его обдало горячим сильным ветром. Алеша развернулся и, глядя в небо, пошел вслед за улетающим теленком, протянув к Наде руки. Все дальше и выше улетал теленок, унося с собой Надю, а Надя сидела не шелохнувшись – видно, сильно испугалась.

Алеша вышел на берег и, немного еще постояв с протянутой вверх рукой, вдруг засомневался, было ли все то, что было. Он оглянулся – на том берегу никого нет; возможно, не было вообще ничего, подумал Алеша, ни дождя, ни радуги, ни видения Нади? Он посмотрел под ноги – трава была влажна; он посмотрел на небо – там переливалась радуга. И когда он решил: дождь был и была радуга, а другое все было только видением, к нему с радуги сошла красивая молодая женщина, одетая, словно индийская женщина, в сари различных оттенков, и сказала Алеше, подав ему руку:

– Пойдем.

– Кто ты? – спросил Алеша.

– Ирида. Если не хочешь потерять ее, – она показала на небо, – пойдем.

Алеша времени терять не стал, подал руку, и они пошли. Ирида не разговаривала, ведя Алешу за собой (он вдруг оглянулся и увидел, что они идут высоко над землей, над рекой, лесом, лугом, по сияющему разными красками дугообразному мосту). Вела его Ирида осторожно, не спеша: она боялась, как бы он не оступился и не полетел вниз. Когда они дошли до середины моста и земля вдруг скрылась за плотной туманной завесой, Ирида сказала:

– Закрой глаза.

Вскоре они вошли во дворец; Ирида оставила Алешу в какой-то маленькой комнате, а сама выскользнула наружу, закрыв Алешу на ключ. Вскоре Ирида вернулась, вслед за ней вошла еще женщина. Лицо у нее было спокойное, властное.

– Молодец, – сказала она Ириде. – *Он* и не догадывается ни о чем. – И, взглянув на Алешу, быстро спросила: – Ничего, не сопротивлялся?

– Смирный, – сказала Ирида, улыбнувшись.

– Устрой его в стеклянном зале. Он может понадобиться. Сделай так, чтобы он видел нас и Надежду.

– Хорошо, Гера.

Женщина вышла.

– Ты не голоден? – спросила Ирида.

– Да нет, – ответил Алеша бодро. – Не очень. А это кто была, богиня, что ли? – спросил он.

– Да. Гера.

– А ты кто?

– Ирида. Ее посланница.

– Ну а…

– Всё, – остановила его жестом Ирида. – Пошли.

Они долго бродили по дворцу, пока не оказались в стеклянном зале.

– В этом зале с внутренней стороны стены стеклянные, и ты все сможешь увидеть. С внешней стороны стены золотые, тебя никто не увидит. Когда ты понадобишься, я приду за тобой.

Ирида вышла из комнаты; одновременно две стены превратились в прозрачное стекло, и Алеша увидел два зала. В одном зале была Надя, в другом – боги. Алеша обрадовался, хотел крикнуть Наде, что он здесь, рядом, но тут же вспомнил слова Ириды: Надя не увидит и не услышит его.

Алеша – делать нечего – подошел поближе к стеклянной стене и начал с любопытством рассматривать богов. Посредине зала, в огромном резном кресле, сидел Зевс; русые его пышные волосы и густая борода, казалось, пенились. В другом кресле сидела знакомая уже Алеше богиня Гера. Она была крайне раздражена и взволнована. Вокруг них сидело множество других богов (одни слушали Зевса и Геру, другие разговаривали друг с другом, третьи пили какой-то напиток и т. д.).

– Да хоть были бы твои любовницы хороши собой, – говорила раздраженно Гера, – красивы, с добрым сердцем! А то ведь одна хуже другой. Возьми хотя бы Латону. Ты вот гордишься ей: она родила мне Артемиду, она родила мне Аполлона! А она только за то, что Ниоба отказалась воздавать ей почести, лишила жизни всех ее детей. Четырнадцать человек убила!

– Уж кому-кому, только не тебе судить о детях, – спокойно отвечал Зевс. – Кого ты мне сама родила? Ареса? Терпеть его не могу! Только и знает, что войны устраивает. Ладно еще, Афродита усмиряет его, а то бы и на меня, отца родного, войной пошел! – Зевс поманил пальцем Нике: – Подай-ка нектар. – И, когда Нике подошла поближе, шепотом спросил у нее: – Ну как?

– Все в порядке. Приняла вид теленка, приласкалась к ней, она и клюнула… Доставлена на место.

– Скажи Афродите, чтоб приготовила ее. Попозже подключите Эрота.

– Хорошо, Зевс.

– Смотри-ка, – продолжал Зевс разговор с Герой, внутренне потирая руки, – о сердце добром заговорила. А вспомни, как с собственным сыном обошлась? Хорошо еще, у Гефеста

сердце мое. А то так бы и сидела, прикованная к своему креслу. Но Гефест не стал мстить, нет… А ведь ты его в пучину морскую выбросила. Как щенка! И не жалко было? Не жалко!..

В это время в комнату к Наде в сопровождении веселых, беззаботных спутниц вошла юная богиня. Шаг у нее был легкий, воздушный, одежды почти прозрачные, от слабого движения они приходили в волнение, переливаясь всевозможными оттенками; с правого плеча одежда у нее слегка приспустилась, приоткрыв полное, нежное тело. Свободно и быстро передвигалась она по комнате, что-то говоря и говоря, взмахивая, как крыльями, нежными руками. Похоже было, что она танцует какой-то сложный искусный танец. Спутницы богини тоже кружились или вдруг подсаживались к Наде, шептали ей что-то, смеялись, брали ее за руки. Их приход поразил Надю, она сначала испугалась, но вскоре красота Афродиты – конечно, это была она – покорила ее. Она протянула руку Афродите, смущенно, робко улыбнулась, Афродита подхватила ее руку и повела Надю по комнате, все убыстряя и убыстряя шаг. Вокруг них порхали и пели что-то – сладкое, щемящее, любовное – Оры и Хариты, подруги Афродиты. И чем дольше смотрел Алеша на происходящее, тем больше переживал за Надю. Он видел, что она уже не помнит больше ни о чем на свете. Есть только эта волнующая, не дающая ни минуты отдыха атмосфера любви, танец любви… А Хариты и Оры, а Надя и Афродита всё кружились и кружились…

– Ну, конечно, я у тебя жестокая! Еще бы! – возмущалась Гера. – Да и с чего мне быть доброй, когда у тебя на каждом шагу любовница? В любую женщину ткни пальцем – обязательно твоя любовница. Тут хоть Майю бери, от которой у тебя родился этот болтун и обманщик Гермес! Тут и Мнемосина, от которой…

– Не будь Мнемосины, не было бы прекрасных муз, – улыбнулся покровительственно Зевс.

– Да мне-то что до ваших муз?! Музы! Скажите на милость! Только и делают, что шляются повсюду с незаконнорожденным Аполлоном да баламутят богов и людей! Меня называть жестокой у тебя хватает совести, а замечать свои измены и предательства – тут тебя нет. А уж если о жестокости заговорил, так я скажу тебе, что сам ты еще хуже меня. Вспомни, как ты с Метис разделался! Любил-любил, а потом взял и проглотил ее! Так-то ты обходишься с бывшими любовницами! А она беременна была. Да, да, не делай удивленных глаз!.. Думаешь, так я и поверила, что ты сам Афину Палладу родил? Ну нет – не бывало еще на свете, чтобы мужчина рожал, будь он хоть семи пядей во лбу, будь он хотя бы великим Зевсом!

– Но есть же свидетели, – возразил Зевс. – Гефест, например, твой родной сын. Он сам разрубил мне голову, и из нее вышла Афина. Помнишь, у меня тогда голова сильно болела?

– Я все помню, все! – мстительно воскликнула Гера. – Она потому и вышла, что Метис была беременна, а ты ее проглотил. Ты боялся, что она родит сына, который погубит тебя!

– Ох-ха-ха-ха!.. – засмеялся Зевс, вместе с ним рассмеялись и Аполлон, и Афина Паллада, и Гефест с Гермесом, а хмельной Дионис засмеялся громче всех. Лишь Геба молчала, внимательно прислушиваясь к спору своих родителей.

– Смейся-смейся!.. – покачивала головой Гера. – Знаю я эту твою привычку сводить все к смешкам да шуткам. Ты вообще никогда никого не понимал и по-настоящему любил только себя. Тебе никого не жалко!

(Пока Гера говорила все это, Зевс вновь поманил Нике пальцем, пошептался с ней, отдал последние распоряжения насчет Эрота: «Только смотри, чтобы без промахов у меня!» Нике кивнула и удалилась. За нею, не дожидаясь указаний Геры, вышла и Ирида.)

– Да, да, не удивляйся, никого тебе не жалко! – продолжала возмущаться Гера. – Ну, положим, меня не жалко. Любовниц не жалко… – Зевс при этих словах усмехнулся. – Но пожалел бы хоть свою дочь Персефону! Ладно, уж я смотрю сквозь пальцы, что родилась она от Деметры. Но вот что ты отдал ее в жены Аиду, этому чудовищу, я простить тебе не могу!

Ты хоть бы представил сначала, кому отдаешь бедную девочку?! Жить в царстве умерших, с этим проклятым Аидом, – до такого только ты и мог додуматься!..

– Аид – чудовище? – изумился Зевс. – Ты забываешь, он наш кровный брат. Он тоже сын великого Крона! Если бы Персефона была моя дочь, брак Персефоны с Аидом был бы невозможен. Деметра – моя сестра, у меня с ней чисто деловые, родственные отношения! Поразмысли-ка своей головой!

– Я-то поразмыслила уже! Подумаешь – Деметра твоя сестра! Да разве тебя это остановит? В наше время еще можно было на сестре жениться, ведь женился же ты на мне, а ведь и я твоя сестра. Почему же ты не мог изменять мне с другой сестрой? Еще как мог! Да и историей доказано, что Персефона твоя дочь от Деметры. И то, что ты отдал ее в жены Аиду, еще раз говорит о твоем бессердечии и жестокости!

– Ох уж эта мне женская логика, – вздохнул в отчаянии Зевс. – Ну, кругом я виноват выхожу… А ты вспомни По! А-а… руками замахала! Ну уж нет, послушай…

Как раз в это время в зал, где кружились и танцевали музы, вошел мальчик с чуть распущенными на спине золотыми крыльями и золотым луком в руках. Сопровождала его Нике. Не обращая ни на кого внимания, слегка задевая крыльями танцующих, мальчик прошел к противоположной от входа стене, вытащил из серебряного колчана свернутый в трубочку лист бумаги. Это была мишень. Несколько раз мальчик делал два-три шага назад, прищуривал то левый, то правый глаз, возвращался к мишени и поправлял ее.

Пока он занимался своим делом, Нике шепнула Афродите, что Зевс начинает сердиться, необходимо поторапливаться. И сразу же танец из быстрого, веселого, порхающего превратился в медленный, проникновенный, томный… Надя почувствовала слабость, две грации подхватили ее под руки и повели на ложе. Надя благодарно, устало улыбнулась им. Богини приготовили постель, надели на Надю легкое пышное убранство, уложили ее, а сами расселись вокруг нее, в ногах, в голове, и начали петь сладкую, тягучую песню. Они пели и томно вздыхали, а Афродита стояла в стороне и затуманенным взором глядела Наде в глаза. Этот странный взгляд богини любви, это пение, вздохи муз и граций привели Надю в непонятное волнение… Она изредка протяжно вздыхала и рассеянно улыбалась…

Алеша тем временем в тревоге метался по залу. Он понял теперь всё… боги обманули их…

Эрот отошел к противоположной от мишени стене, вложил в лук золотую стрелу и натянул тетиву. С тонким свистом мелькнула по комнате золотистая нить. Богини все так же пели, Надя вздыхала, Зевс гневался и продолжал спорить с Герой, Алеша мучился, а Эрот лишь недовольно покачал головой, нахмурился. Он вытянул из колчана вторую стрелу и сильным движением пустил ее из лука в мишень. Алеша мучился, боги спорили, богини пели, а Эрот вновь поморщился и постоял некоторое время в задумчивости. Выпустив третью стрелу, Эрот рассердился, бросил в досаде лук на пол и, заложив крылья за спину, начал быстро расхаживать по залу…

– В чем дело? – спросила Нике. – Время давно вышло.

– Не твое дело! – буркнул мальчик.

– Да ведь все три стрелы вошли одна в другую! – воскликнула Нике. – Я покровительствовала удаче.

– «Покровительствовала»! Больно надо! Тем хуже! – бормотал мальчик.

– Да в чем дело? Чем ты так недоволен?

– Стрела не идет. Не идет! – закричал мальчик. – Мой первый выстрел был неудачен. Я не попал в сердцевину. Да, да! Иди и взгляни, Нике!

– Да полно…

– Кто-то мешает мне. У меня перед глазами все время лучи какие-то сверкают!..

– Взгляни же на нее, – показала Нике на Надю.

Надя лежала с закрытыми глазами, вздыхая тяжело и часто, протягивая в пространство руки, которые ей гладили, целовали, обнимали грации, музы и сама Афродита; нельзя было без сострадания смотреть на нее…

А Алеша шептал: «Правильно, правильно, правильно. Правильно, правильно, правильно… Так вам и надо, так вам и надо…»

А Зевс уже не спорил с Герой, а кипел негодованием:

– Ты у меня добрая, сердечная, умная! Как же! А то, что ты Но замучила, это ничего?! Бедная Но!.. За что ты так мучила ее? К чему преследовала, зачем не давала ей жизни? Бедняжка, она совсем обезумела от твоих укусов, не знала, куда деться от тебя. Подумать только, умри она – и не было бы рода Эпафа, Алкмены, а значит, не было бы и Геракла, величайшего из героев!

– Преследовала и буду преследовать! – не сдавалась Гера. – Но ты хитрый, сумел спрятать ее от меня. А мою жестокость к ней – будь спокоен – боги простят мне. Ведь Геракла я не сжила со света, простила бесстыжий его род…

– Она простила Геракла! Она простила его род! Да что ты могла ему сделать? – изумился Зевс.

– Это неважно. Знаю, что бы сделала, не беспокойся, – снисходительно улыбнулась Гера. – Главное, что простила. Даже дочь мою любимую, маленькую Гебу, в жены Гераклу отдала. Я не обманщица какая-нибудь, не лгунья. Это ты только можешь святым прикидываться. Вспомни Данаю свою! Прикинулся золотым дождем, надо же! Золото необыкновенное какое! Подумаешь! Да я эту Данаю, я ее…

(В это время Нике подошла к Зевсу и доложила на ухо, что Эрот сегодня не в форме, плохо у него обстоит дело с меткостью. Не уверен, что поразит сердца любовью. Ручаться не может. «Но!.. – развела Нике крыльями, – попытка не пытка…» Зевс нахмурился, подумал немного и, тут же наказав что-то Нике, отправил ее в другой зал. Гера поняла, что Ирида точно выполняет свою задачу, и слегка улыбнулась. Теперь-то уж она верила, что «вечер встречи» Зевса с Надеждой не состоится.)

– И не только Данаю, – продолжала Гера, загадочно улыбаясь. – Я и сына вашего, Персея, в гроб загоню. Еще и до Диониса, этого бесстыжего пьяницы, доберусь! Пусть он спас меня, но он тоже твой побочный сынок – от Семелы… Как подумаешь, с кем только ты не изменял мне, так голова идет кругом! Нет во всем божьем царстве женщины, которую бы я не чувствовала своей соперницей! От тебя всего можно ожидать – тебе что богиня, что земная царица, лишь бы женщина. Эх ты, бог ты бог… В кого ты только уродился такой! Не иначе как в батюшку нашего, тьфу-тьфу, великого Крона! И не стыдно тебе, не совестно? Нет, не стыдно тебе! Ни передо мной, ни перед богами, ни перед людьми! Ты думаешь, что все так просто, ну изменил – и изменил, мало ли… Так ведь есть еще люди, они на тебя смотрят, и что им остается делать? С тебя пример брать?

– Какое мне дело до людей?! – поморщился Зевс. – Я дал им жизнь – ну и ладно. Жизнь есть на Земле?

– Жизнь-то пока есть, но…

– Ну и прекрасно. А то я помню такие времена, когда и жизни не было. А теперь жизнь есть, вот и хорошо. Даже прекрасно.

– Но ведь ты их отец! Детей надо любить…

– Да в чем, собственно, дело? Что это мы заговорили о Земле?

– Потому и заговорили, что там живут да на тебя оглядываются…

– Ну, не знаю, не знаю… Могут жить так, могут этак, какое мне дело? И потом, я ведь тоже не всемогущ. Есть всесильная Афродита, а у нее еще более коварный сынок – Эрот. Никуда от него не денешься, даже меня, старика, совсем замучил…

– Это точно. Измучился ты, истаскался! Еще бы, как по Олимпу идем, так каждую девицу с ног до головы обсмотришь. Бесстыдник!

– Да, любовь… – вздохнул Зевс. – Любовь всесильна. Что тут сделаешь? Нет, против Эрота и Афродиты нет силы, нету… Эрот мне не подвластен.

– Эрот-то, может, тебе и не подвластен. Зато подвластны тебе женщины, люди. В твоих руках власть. Ты ведаешь жизнью, хлебом, кровью… И ты пользуешься этим! Но когда-нибудь мы, женщины, отомстим тебе…

– Ну, а как без нас-то обойдетесь? – усмехнулся Зевс.

– А вот так… Возьмем да все враз забеременеем, а вас, мужиков, уничтожим. Родится новое поколение и вырастет чистым, достойным. Не с кого будет брать пример!

– Прожектерством занялась… давай-да-вай. Как будто дело в нас, а не в вас. Это ведь вы внушаете нам любовь. Новых мужчин так же будет сводить с ума женская красота. Красота – основа мира, причина жизни. Я сам порой удивляюсь, почему я не могу не испытывать волнения в присутствии женщин? Почему меня это задевает, откуда во мне тревога, беспокойство, почему? И могу ли я отвергнуть это? Я – всесильный бог, начало людей, но и я не могу противиться этому. Природа во мне, я в природе, а красота— это то, что существует для вечного поддержания жизни в природе. Пессимист ты или оптимист, противишься ты этому сознанием или нет, но ты не можешь не покориться красоте, не можешь хотя бы раз не плениться прекрасной женщиной, а этого уже достаточно, чтобы природа исполнила гимн в свою честь. Красота неразложима для нас, сознание не расчленит ее, не поймет, не постигнет, она – тайна, как тайна сама природа, умножающая жизнь через вечную любовь и тягу к красоте, через невозможность не тянуться к ней.

– Знаю я все эти уловки! – воскликнула Гера. – Красота, красота! Мало ли кто на свете красив?! Все красивы по-своему, выходит, надо и любить всех? Изменил да и оправдался: тут, мол, красота, я ничего не знаю, это неразложимо, это нерасчленимо… Хорошенькую теорию выдумал! Очень удобную. Для таких, как ты. Ну, погоди… не всегда так будет. Если в божьем царстве до сих пор варварство, то на Земле, между прочим, давно цивилизация.

– Да, да, я слышал, – сказал Зевс. – Как там историки говорят— Гесиод, например? Было пять веков. Помню, век первый, золотой. А теперь вот век пятый, железный век. Слышал, да…

– Ошибаешься, великий Зевс! – язвительно улыбнулась Гера. – Это тебе древние историки нарассказали сказки, а ты послушай, что на Земле наука говорит. «Пять веков»! Тоже мне, открытие! Смехота одна. По истинной науке – была когда-то дикость, потом варварство, теперь – цивилизация. Женщина только сейчас свободна, а когда она свободна, тогда и возможна истинная любовь. Давай-ка откроем Энгельса. Ирида, подай живо книгу!

Ирида принесла толстый том, Гера раскрыла его на нужной странице и, не обращая внимания, слушает ее или не слушает Зевс, начала читать:

– *«Современная индивидуальная семья основана на явном или замаскированном домашнем рабстве женщин, а современное общество – это масса, состоящая сплошь из индивидуальных семей, как бы его молекул. Муж в настоящее время должен в большинстве случаев добывать деньги, быть кормильцем семьи, по крайней мере в среде имущих классов, и это дает ему господствующее положение… Он в семье – буржуа, жена представляет пролетариат».* Здесь, кажется, все понятно? – спросила Гера.

– Понятно, что ты катишь на меня бочку, – ответил Зевс.

– Речь о капиталистической общественно-экономической формации, а ты тут о себе… При социализме, между прочим, будет совсем иное. – И продолжила читать: – *«С переходом средств производства в общественную собственность индивидуальная семья перестанет быть хозяйственной единицей общества. Частное домашнее хозяйство превратится в общественную отрасль труда. Уход за детьми и их воспитание станут общественным делом; общество будет одинаково…»*

– Это хорошо, – сказал Зевс.

– Не перебивай, – быстро проговорила Гера, – «… *общество будет одинаково заботиться обо всех детях, будут ли они брачными или внебрачными. Благодаря этому отпадет беспокойство о «последствиях», которое в настоящее время составляет самый существенный момент, – моральный и экономический, – мешающий девушке не задумываясь отдаваться любимому мужчине».*

Над плечом Зевса просвистела стрела; Зевс обернулся: в дверях, с золотым луком в руках, стоял Эрот. Рядом с ним была Нике; увидев, что стрела не поразила сердце Зевса, она тут же подпорхнула к нему:

– Что-то происходит с Эротом, о великий Зевс! Кто-то мешает ему – у него перед глазами все время лучи сверкают. С доставленной тоже некоторые трудности. Она уже измучилась, исстрадалась. Может, вы так, великий Зевс, – прошептала стыдливо Нике, – без этого всего… к ней пойдете…

– Видишь ли… – Зевс потупился. – Я считаю… как бы это сказать… считаю безнравственным обладать женщиной, к которой не зародилось в сердце чувство…

– О великий бог! – восхитилась Нике.

– Поэтому… – Зевс поморщился. – Ты передай Эроту, пусть еще попробует, а я… В общем, я подожду, пока жена читает для меня наставления… Иди, пожалуй.

Нике кивнула и удалилась.

Зевс, раздосадованный разговором с Нике, решил загнать Геру в тупик:

– Но если девушки начнут не задумываясь отдаваться любимому мужчине, не возникнут ли постепенно более свободные половые отношения, а вместе с тем и более снисходительный подход общественного мнения к девичьей чести и к женской стыдливости?

– А, заинтересовался! – радостно воскликнула жена. – То-то же! Нет, опасение напрасно. Отвечу словами Энгельса: «*Здесь вступает в действие новый момент, который ко времени развития моногамии существовал самое большое лишь в зародыше, – индивидуальная половая любовь… Современная половая любовь существенно отличается от простого полового влечения, от эроса древних. Во-первых, она предполагает у любимого существа взаимную любовь; в этом отношении женщина находится в равном положении с мужчиной, тогда как для античного эроса отнюдь не всегда требовалось ее согласие».* Слышал? А я что тебе говорила? В твоих руках сила, власть, вот ты и пользуешься этим. А спросил ты хоть у одной женщины, любит ли она тебя? Тебе это и в голову не приходило. У тебя только и есть твое я, я, я…

– Ну, начала опять… Слышал уже, неинтересно. Читай дальше…

– Дальше! Я-то прочту, а ты мотай на ус. На себя все прикидывай и взвешивай…

– Ладно, ладно, читай…

– Вот… Ага, слушай: *«И, наконец, появляется новый нравственный критерий для осуждения и оправдания половой связи; спрашивают не только о том, была ли она брачной или внебрачной, но о том, возникла ли она по взаимной любви или нет?»*

– Так ведь и я так думаю! – воскликнул Зевс. – Я убежден, что там, где есть истинная любовь, никаких измен нет и быть не может. Скольких женщин я любил такой любовью. Выходит, я давно живу по новому нравственному критерию. – Зевс удовлетворенно потер руками.

– Во-первых, этот критерий для тебя не подходит, ты еще пока в своем царстве не при социализме живешь. А во-вторых, я уже повторяла тебе, о взаимной любви со стороны женщин к богу и говорить не приходится. Ты вынуждаешь их любить себя. В твоем подчинении и Афродита, и Эрот, а уж только потом ты сам подчиняешься им. Легко подчиняться тому, кому ты хочешь подчиниться, кого ты заставляешь быть *над* собой только потому, что ты *уже над* ними. Что-то, я гляжу, Эрот с Нике сегодня разбегались около тебя… Случайно не знаешь, в чем дело? – Гера усмехнулась.

– А-а, да это они так просто… – махнул Зевс рукой, смутившись. – Кто ж их знает… У них всегда свое на уме. Нет, нет, ничего не знаю. Не знаю, не знаю, не знаю… а что?

– Да так, просто так. Слушай дальше. Это как раз тебя касается: «… *человек только в том случае несет полную ответственность за свои поступки, если он совершил их, обладая полной свободой воли, и… нравственным долгом является сопротивление всякому принуждению к безнравственному поступку*^. И еще дальше: «*Полная свобода при заключении браков может, таким образом, стать общим достоянием только после того, как уничтожение капиталистического производства и созданных им отношений собственности устранит все побочные, экономические соображения, оказывающие теперь еще столь громадное влияние на выбор супруга. Тогда уж не останется больше никакого другого мотива, кроме взаимной склонности*». Так-то вот, дорогой Зевс… А у меня никогда и не было свободы воли. Ты единственный царь, господствующий в нашей семье. Волей-неволей приходится мириться с твоими изменами, потому что куда деваться? Тем более когда маленькие дети на руках были, Гефест, Геба…

– Ну, Гефест, положим, недолго у тебя на руках был. Швырнула в море – и прощай, сынок!

– А почему швырнула, ты знаешь?! – с болью воскликнула Гера. – Потому и швырнула, что ты там со своими любовницами кутежи закатываешь, а у меня копейки в кармане нет. Чем кормить детей, святым духом?

– Можно и святым. Они ведь боги, а ты – богиня.

– «Богиня»! Знаю я эти твои вечные насмешки. Нашел богиню, у которой ни прав, ни сил, ни денег. Если бы ты был пролетарием, тогда б у нас была хоть настоящая моногамия, единобрачие. Не в историческом, а в этимологическом смысле.

Ты – я, я – ты. И только. А разлюбил и – пожалуйста, каждый в свою сторону. Без измен, предательств и обид. Но с тобой трудно брак расторгнуть, деваться некуда, вот и терпишь. И детей жалко…

Тут над Зевсом просвистела новая стрела; она прошла над самой его головой, Зевс даже вздрогнул от испуга. Гера рассмеялась:

– Уж не на голову ли твою он сегодня охотится, этот милый мальчик? Может, надоело ему твое сердце?.. Эй, Эрот, подойди-ка к нам!

Мальчик нехотя подошел.

– Милый Эрот, какой ты сегодня скучный! – Гера явно насмехалась. – Что случилось? Или лук неисправен? А может, слабо натянута тетива? Помилуй, ты сегодня так стреляешь, что можешь голову снести моему драгоценному мужу! Убить, наверно, задумал Зевса, баловник?

– Приказано стрелять, – буркнул мальчик.

– Как?! – насмешливо всплеснула руками Гера. – Разве может кто-нибудь приказывать *тебе*?

– Я не обязан отчитываться перед вами.

– Но в таком случае не обязан и подчиняться кому бы то ни было!

Эрот внимательно взглянул на Геру, усмехнулся, поправил рукой колчан:

– Чту с вами говорить…

– В самом деле, обожаемая Гера, разве может он отвечать за свои поступки? – сказала Афродита, появившись в зале. – Он всего лишь мой сын, не спрашивайте его ни о чем… – И, повернувшись к мальчику, добавила: – Ступай, сынок. Иди занимайся своими делами. Иди, иди…

– В таком случае, – не хотела отступать Гера, – может, вы мне сами ответите, дорогая Афродита?

– Ну что вы, обожаемая Гера, я ведь все-таки богиня любви. *Любовь* ни за что не отвечает, она всегда права. Мыслимо ли задавать ей вопросы? – И, не дожидаясь ответа Геры, Афродита

вдруг доложила Зевсу официальным тоном: – Объект находится в удручающем состоянии. Мастер не может с ним справиться. Какие будут распоряжения?

– Оставьте, оставьте, оставьте меня в покое! – рассвирепел Зевс. – Черт побери, каждый раз суетесь ко мне с какими-то дурацкими вопросами! Я занят разговором с великой богиней Герой, это разговор особого, государственного значения. Оставьте меня! Прекратить стрельбу! Прогнать Эрота! Передайте Нике: объект может отдыхать. Может спать. Всё.

Афродита поклонилась Зевсу и вышла. Алеша с облегчением вздохнул.

– Вечно от них нет покоя… – сердито проворчал Зевс, ерзая на троне.

– А в чем там у них дело? – наивно спросила Гера, пряча на губах улыбку.

– А-а… старая история, – махнул рукой Зевс. – Поймали мышь в мышеловку, а мастер не может капкан открыть.

– В самом деле, какие глупые у тебя боги. Нет чтобы самим догадаться, что мышь может спокойно спать…

– Какая мышь может спокойно спать? – не понял Зевс.

– Ну ты же сам сказал, что ОБЪЕКТ может спать.

– А-а… ну да, сказал. Проклятая эта мышь! Правильно, может отдыхать. Ф-у… совсем голова кругом с вами.

– Да, царствовать на Олимпе – голову нужно иметь… – Гера едва сдерживалась от смеха.

– Ну, давай вернемся к государственным делам, – обеспокоенно сказал Зевс. – Честное слово, мне этот Энгельс по душе. Я сам часто думал о том, о чем он пишет. Скажи на милость, не бог, а какой умница!

– Что ты, – сказала Гера, – я просто без ума от него.

– Но, но, но! – грозно сказал Зевс.

– Я говорю про идею, – смутилась Гера. – Видишь ли, Энгельс считал, что моногамия – единобрачие – исторически основывается прежде всего на господстве мужчины, а кроме того – на нерасторжимости брака… Это понятно?

– Еще бы не понятно.

– Вот он и пишет: «Г*осподство мужчины в браке есть простое следствие его экономического господства и само собой исчезает вместе с последним. Нерасторжимость брака – это отчасти следствие экономических условий, при которых возникла моногамия, отчасти традиция того времени, когда связь этих экономических условий с моногамией еще не понималась правильно и утрированно трактовалась религией. Эта нерасторжимость брака уже в настоящее время нарушается в тысяче случаев. Если нравственным является только брак, основанный на любви, то он и остается таковым только пока любовь продолжает существовать. Но…»*

– Так, так…

– Не перебивай. «… *Но длительность чувства индивидуальной половой любви весьма различна у разных индивидов, в особенности у мужчин, и раз оно совершенно иссякло или вытеснено новой страстной любовью, то развод становится благодеянием как для обеих сторон, так и для общества. Надо только избавить людей от необходимости брести через ненужную грязь бракоразводного процесса».*

– Да этому человеку место на Олимпе! – захлопал Зевс в ладоши. – Ай да умница!

– Вот что Энгельс пишет дальше, – сказала Гера. – *«Таким образом, то, что мы можем теперь предположить о формах отношений между полами после предстоящего уничтожения капиталистического производства, носит преимущественно негативный характер и ограничивается в большинстве случаев тем, что будет устранено. Но что придет на смену?»*

– Интересно!

– Опять ты перебиваешь?! Сколько можно тебя просить?

– Все, все, все… – замахал Зевс руками.

– «Но что придет на смену? Это определится, когда вырастет новое поколение: поколение мужчин, которым никогда в жизни не придется покупать женщину за деньги или за другие социальные средства власти, и поколение женщин, которым никогда не придется ни отдаваться мужчине из каких-либо других побуждений, кроме подлинной любви, ни отказываться от близости с любимым мужчиной из боязни экономических последствий. Когда эти люди появятся, они отбросят ко всем чертям то, что согласно нынешним представлениям им полагается делать; они будут знать сами, как им поступать, и сами выработают соответственно этому свое общественное мнение о поступках каждого в отдельности, – и точка».

– Я преклоняюсь перед этим человеком! – восхищенно воскликнул Зевс. – Он высказывает мои самые сокровенные мысли! Он словно заглянул мне в сердце!

– Но уж Энгельс, наверно, не похвалил бы тебя, если б узнал, что ты изменяешь мне направо и налево, – усмехнулась Гера.

– А, ты не понимаешь! Истинная любовь всегда нравственна. Но только истинная, настоящая! Ведь ты сама читала, что новый нравственный критерий зависит не оттого, была ли связь брачной или внебрачной, а от того, возникла ли она по любви или нет!

– По взаимной любви.

– Ну что ты все – по взаимной, по взаимной… Конечно, по взаимной. Если два существа свободны – какая может быть еще любовь?

– Ну, если ты так считаешь… – сказала Гера и вдруг обрадованно воскликнула: – А-а… вот, кажется, и наш Алеша! Входи, входи…

Алеша нерешительно топтался у порога; рядом с ним стояла Ирида.

– А это еще кто такой? – изумился Зевс. – Человек? С Земли?

– Здравствуйте, – тихо поздоровался Алеша, переминаясь с ноги на ногу.

– Ирида, посади его вот сюда, – ласково показала Гера. – Вот так… Хорошо, спасибо.

Ирида посадила Алешу на свободный трон, встав рядом.

– Я тебе потом все расскажу, милый, – сказала Гера Зевсу. – Не волнуйся… А пока продолжим разговор.

– Как?! При человеке?! – изумился Зевс. – Ты что, смеешься надо мной? Ведь тогда люди узнают тайны бытия и Олимпа!

– Ничего, ты можешь послать его в ад, к Аиду, – успокоила мужа Гера. – Нашел о чем заботиться…

Алеша, покашливая, заерзал на троне.

– Да и, кроме того, – продолжала Гера, – разве ты не разговариваешь с земными женщинами, которых ты заставляешь любить себя? Люди давно уже знают тебя как облупленного.

– О каких это земных женщинах ты болтаешь? – возмутился Зевс.

– Вот, Алеша, полюбуйся, – показала Гера на Зевса рукой, – оказывается, он сама невинность… Прямо простачок из олимпийской деревни!

Алеша в недоумении таращил глаза, ничего не понимая.

– Как это какие земные женщины? – вновь обратилась Гера к Зевсу. – Может, тебе по пальцам их перечислить, чтобы вот Алеша получше запомнил да на Земле все рассказал?

– Ладно, ладно… Знаю, болтать ты мастерица. На Земле и без тебя все известно, книжки небось есть. Ты тут наговоришь, а он еще и вправду поверит. Да я его тогда! Я его к Аиду!..

– Ну, ну, не горячась, милый Зевс, – вступилась за Алешу Гера. – Давай сначала поговорим… – Гера повернулась к Алеше и, показывая на Зевса, сказала: – Представь себе, Алеша, этот бог влюбился в Энгельса.

– Ну??? – От изумления Алеша даже привстал с трона.

– Тебе приходилось читать «Происхождение семьи, частной собственности и государства»? – Гера внимательно смотрела на Алешу.

– Да я как раз эту книгу штудировал на днях! Несколько раз прочитал.

– Ну вот, и я сегодня Зевсу выдержки оттуда почитала. И знаешь, понравилось ему. Говорит,

Энгельс заглянул ему в самое сердце. Мол, высказывает самые сокровенные его мысли.

– Ну и ну!.. – изумился Алеша.

– Больше того, Зевс считает, – продолжала Гера, – что нравственна только та связь, которая возникает по любви, но не по принуждению. Не говоря уже о том, что такая связь невозможна, если к женщине вообще нет чувства. Когда-то он позаботился о красоте мира, его гармонии и считает, что красота— начало жизни. Красота есть тайна природы, которая жива лишь потому, что в потоке движения невозможно не тянуться и не приобщаться к красоте. Так, кажется? – Гера покосилась на Зевса.

– Ну, так… – ответил Зевс неохотно, подозревая какой-нибудь подвох. – Положим, что так, – добавил он навсякий случай.

– Кроме того, Зевс был убежден, что сейчас на Земле – железный век. Представляешь, Алеша? Как говорится: «Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь». Когда-то в детстве еще прочитал Гесиода, зазубрил про века: золотой да медный с железным и прочее. Сейчас, мол, век железный. Ну, я ему и рассказала про формации, про Энгельса с Марксом, про индивидуальную половую любовь, про социализм, про всё, в общем… И он со всем согласился. Представляешь, наш Зевс совершенно со всем согласился?! Но! – Гера многозначительно подняла палец. – Владыкой мира он остаться хочет. Так?

– Ну, так.

– Первое противоречие. – Гера загнула на руке палец. – К чему оно привело? К тому, что Зевс только на словах верит в справедливость…

– Это ложь! – закричал Зевс.

– Дальше… – невозмутимо продолжала Гера. – Лицемеря перед нами, Зевс оставил за собой еще одно право – изменять мне. Мы в этом скоро убедимся… И это при всех рассуждениях о нравственности и безнравственности, красоте, гармонии и прочем, о которых я уже говорила. – Гера загнула еще один палец: – Сие есть второе противоречие.

– Да где оно, в чем? – закричал Зевс.

– Вот я и пригласила Алешу, чтобы он посмотрел на тебя, когда ты будешь объясняться. Скажи-ка, милый Зевс, что это еще за ОБЪЕКТ такой появился у нас на Олимпе?

– Опять ты про этот ОБЪЕКТ… Говорю тебе, мышь. В мышеловку попалась…

– А не слишком ли хитра мышеловка? Случайно, не сам ты ее конструировал?

– Сам, – гордо и самодовольно ответил Зевс.

– А ты знаешь, что эта мышь – волшебная?

– Как волшебная?! – удивился Зевс.

– А так… В любую секунду она может превратиться в кого угодно.

– Ну да? – недоверчиво протянул Зевс.

– Ведь на самом деле она посланница Земли. Мышью она только прикинулась.

– Зачем это она прикинулась? – Зевс решил разыгрывать из себя дурачка.

– Сейчас я тебе расскажу… Есть у людей такое поверие: если надежду соединить с верой, родится счастье как истина.

– Ну и при чем здесь я?

– А вот при чем. Ты как бог есть символ веры; если ты полюбишь надежду, от нее родится истина, которая и погубит тебя.

– Да при чем здесь все-таки я? Кому нужна моя смерть?

– Как ты не понимаешь…ты как бог еще и символ лжи, а истина отметет всякую ложь, всякую условность. Твоя погибель, оказывается, придет к тебе не от Метис, а от человеческой надежды. Люди не хотят больше верить в богов, они хотят верить только в себя.

– Тарабарщина какая-то… – усмехнулся Зевс. – Но я ведь… это… не клюну на их удочку.

– Да ведь ты уже клюнул! Насколько я понимаю, даже Афродита с Эротом стараются внушить тебе любовь к «мыши»!

Тут Зевс не выдержал и захохотал громовым голосом. Гера терпеливо ждала, когда он просмеется, а Алеша с ужасом смотрел на страшного в смехе бога и заткнул уши пальцами.

– Да это никакая совсем не мышь! – смеялся Зевс. – И нет никакой мышеловки! Я все это так, для шутки придумал. Ха-ха-ха!.. Это обычная земная женщина Надя, а не ОБЪЕКТ.

– Как? Значит, эта мышь уже превратилась в женщину?! – в ужасе вскрикнула Гера, привстав с трона.

– Да нет, ни в кого она не превращалась, – объяснил Зевс. – Обычная девушка. Так прямо и доставлена сюда, в естественном виде. Никакой мыши и мышеловки не было.

– Но зачем эта девушка понадобилась на Олимпе?

– Она… поет, говорят, хорошо. У нас вечером концерт будет, вот я и решил, пусть попоет для богов.

– Послушай, Зевс, – оглядываясь, зашептала Гера, – а ты не думаешь, что здесь какой-то заговор?.. Покажи-ка эту девушку.

– Пожалуйста! Эй, кто там! Гермес, Нике, разбудить объект (при этом Зевс усмехнулся) и привести сюда!

Тотчас привели Надю. Она вошла заспанная, протирая глаза кулаками. Увидев Алешу, она бросилась к нему в объятия, не обращая внимания на богов.

– Алешенька, милый… – шептала Надя, обнимая его. – Где же ты был так долго? Ты видел меня там, за рекой? Да? Так это твой голос я слышала? Твой, твой… А ты знаешь, меня кто-то похитил… ой, смешно как! Помнишь, я все мечтала, чтобы меня похитили, как Европу? Вот и домечталась, похитили…

Зевс нетерпеливо перебил девушку:

– Кто такая и как тебя зовут?

– Я студентка первого курса МГУ… – начала Надя.

– Понятно, – сказал Зевс важно. И для верности спросил: – Значит, не мышь?

– Да что вы, какая я мышь? Разве я похожа на мышь?!

Зевс торжествующе взглянул на Геру.

– А как тебя зовут?

– Надя. А вас как?

– Зевс! – усмехнулся великий бог. – Выходит, никакая ты не Надежда? – Зевс вновь торжествующе посмотрел на Геру.

– Зе-е-евс?.. – недоверчиво протянула Надя. – Неужели Зевс? Так вот вы какой!.. Как я мечтала увидеть вас! Какой вы сильный, прекрасный!.. Но ведь вы, оказывается, совсем старик! Вон и седина в бороде пробивается!.. – Надя ласково прикоснулась к его бороде.

– Значит, я ошиблась, – печально обронила Гера. – Это совсем никакая не Надежда, а Надя…

– Да ведь Надя и Надежда – это одно и то же! – воскликнул Алеша, пораженный глупостью богов.

– К-как, к-как одно и то же?.. – забормотал Зевс. – Болтаешь, врешь?.. – И тут же набросился на Надю: – О какой любви ты тут распинаешься? Что ты тут про любовь болтаешь? На удочку поймать? Убить меня?.. Ты – Надежда?

– Я – Надя, а полное мое имя Надежда.

– Афина! – закричал Зевс. – Ну-ка переведи, что это значит – Надежда?

– То-то, то-то и то-то, – перевела Афина.

– Значит, это и есть Надежда, от которой мне суждено погибнуть?! – Зевс схватился за голову. – Неужели там, на Земле, эти несчастные люди в самом деле думают, что я символ лжи? О, коварные, жестокие люди!.. И это им когда-то я дал жизнь?.. А ты, ты! – закричал он

на Надю. – Как ты попала сюда? Что тебе нужно от меня? Я не буду глотать тебя, как Метис, я пошлю тебя в ад, к Аиду! К Аиду ее, к Аиду! В ад!

– Ирида, – строго распорядилась Гера, – отведи Надежду к Аиду.

– Слушаюсь, – кивнула Ирида.

– А ты кто такой? – набросился Зевс на Алешу. – Тебе что тут нужно? Что нужно, я тебя спрашиваю? Подслушивать прокрался сюда? Лазутчик человечества? Богини Нике, Гера и Фемида, срочно рассмотреть дело лазутчика человечества Алеши!

Тотчас состоялся суд.

– Имя?

– Алеша.

– Живешь на Земле?

– Да.

– Представитель человечества?

– В какой-то мере, может, и представитель.

– Не увиливай от ответственности. Запишите: представитель. Есть на Земле это, это и это?

– Есть.

– А вот то, то и то?

– Тоже есть.

– А такое, такое и такое?

– Все есть. Но вы забываете, что даже Москва не сразу строилась…

– Не оправдывайся. Молчать! Слушай приговор: представитель человечества Алеша…

– Я не могу отвечать за все человечество! – закричал Алеша.

Зевс нахмурился, подумал-подумал, проронил:

– Должен отвечать…

– Должен отвечать! – закричали Алеше. – Слушай приговор: представитель человечества Алеша приговаривается на вечное поселение в ад вплоть до нового указа! Подпись. Печать.

– Черт знает что творится на вашем Олимпе! – возмутился Алеша. – У самих неразбериха, а мне – к Аиду!

– Ирида, – распорядилась Гера, – отведи Алешу туда же.

– Да-а… – вздохнул наконец Зевс облегченно и заулыбался, как мальчик, легкой, наивной улыбкой. – Чуть было не влюбился в эту Надежду себе на голову. А ведь я, Гера, хотел тебя обмануть. Ты, можно сказать, спасла меня от верной гибели. Нет, я неблагодарный!.. Теперь в каждой чужой женщине буду видеть для себя угрозу. Мало ли, а вдруг это и есть человеческая надежда? Все, крышка, с изменами покончено, есть у меня одна богиня – и хватит…

– Ну, а третье твое противоречие… – начала Гера.

Но Алеша уже не слышал, что сказала Гера, потому что Ирида вывела его из зала, и они направились по дворцу, пока наконец не оказались в той самой комнате, куда Алеша попал в первый раз. Здесь ждала их Надя.

– Алеша!

– Надя!

Они крепко обняли друг друга. Улыбнувшись, Ирида попросила:

– Пожалуйста, тихо. Нас могут услышать. Пойдемте!

Они вышли из дворца.

– Закройте глаза.

…Они шли по радуге, Алеша с левой стороны, Надя с правой, а Ирида посредине. Когда до Земли осталось совсем немного, Ирида соединила руки Алеши и Нади и сказала:

– Ну, тут вы сами доберетесь. Не бойтесь ничего. Гера нарочно устроила этот спектакль, чтобы проучить Зевса. Вы нам здорово помогли разобраться кое в чем, за что и попадёте,

кажется, в земной рай, а не в олимпийский ад!.. – Ирида весело рассмеялась, засверкала всеми цветами радуги и исчезла.

Огонь небесный
Легенда

Знай же, что смертным огонь принесен На землю впервые молнией был.
Лукреций

Мы – огонь, зажженный любовью.
Гофман

Воин по имени Теко первым увидел: звезда племени пала.

– Кто видел, что видел и я? – спросил Теко.

И вождь сказал:

– Я не видел, Теко.

И все сказали:

– Никто, Теко!

Но самый мудрый спросил:

– А что видел ты, воин?

Теко взглянул на мудрого, но не было в племени ни воина, ни женщины, кто бы увидел тихую усмешку Теко; он один знал: отныне к племени идет смерть.

– Новая звезда взошла на небо!

Он сказал ложь, зная, что никто не заметил падения Ойры, никто не видел знака смерти.

– Ты будешь счастливым, воин! – объявил мудрый. – Ты видел это первым! Но скажи, какая звезда – новая или сестра Ойры?

– Сестра! – сказал Теко. Он думал: разве смерть не сестра жизни?

«Сестра! Сестра-а!..» – пронеслось над племенем.

1

К ночи разыгралась буря: над пещерами, где жило племя, сверкала молния, гремел гром, лил дождь. Все вышли из пещер и глядели на вспышки молний. Молния – их жизнь, молния дала им огонь, от молнии – от огня – все их радости, вся трудная и желанная жизнь. Священный огонь, рожденный от молнии, хранят они в отдельной пещере; день и ночь воины с оружием в руках охраняют в этой пещере огонь…

Вспыхнула и раскололась на множество лучей молния, и один луч, скользнув к земле, ударил по дубу в поле. Дуб как будто вскрикнул от огня, охватившего его, и запылал. Он пылал среди ночи огромным факелом.

Племя сосредоточенно и серьезно смотрело на священный огонь. Радоваться или печалиться – люди не знали. Ибо: что дано, то свято.

2

А когда все уснули, Теко осторожно поднялся и вышел из пещеры. Не было дождя, а было тихо и спокойно вокруг. Теко посмотрел вдаль: там догорал могучий дуб.

Он пошел к дубу, а когда подошел – остановился напротив, вытянув вперед руку.

И засмеялся.

Теперь он знал: он сильней дуба, сильней молнии, сильней жизни и законов племени.

Он подобрал с земли горящую головешку и побежал прочь от дуба, к пещере, которую знал только он один.

Там, в пещере, Теко разложил небольшой костер. Это был костер из сырых поленьев, чтобы не пылал он, а тлел: так учат мудрые. Только раз, от солнца до луны, подложи в такой костер дров.

3

Долго ждал Теко, когда прогорит в поле дуб. Он прогорел. А позже опять начался дождь: и дуб, горячий еще, зашипел вдали. И шипел долго, а потом перестал.

Тогда Теко подкрался к пещере, где воин охранял огонь племени. Воин спал – а огонь горел. Воин спал, как многие другие спали на его месте: некому было посягать на огонь.

Теко свистнул, но воин не проснулся.

Теко подождал.

И еще раз свистнул.

Когда и на этот раз воин не проснулся, Теко прокрался в пещеру, тихий, как зверь, и потушил огонь.

И когда не увидел он больше огня, сердце его стало как камень – от решимости и отчаяния; на глаза навернулись слезы. Только Теко не женщина, он воин: он слушает не слезы, а голос своего сердца.

Он вышел.

Подойдя к пещере вождя, он крикнул негромко: только дочь вождя, Сана, понимала этот крик. Она появилась, и Теко спросил её:

– Сана! Верно ли твое слово?

– Теко, ты знаешь, – ответила Сана.

Теко улыбнулся.

– Но как же закон? – спросил дальше.

– Его не помню.

– А отец?

– О нем не думаю.

– Но боги?

– Им моя жизнь.

Теко вновь улыбнулся:

– Я все сделал. Готовься, Сана.

– Готова всегда.

– Прощай!

4

Утром племя узнало: огонь умер. Воин, охранявший его, в отчаянии всадил копье в свое сердце. И племя заплакало. Не плакал только вождь, да не плакали три мудрых его старца. Они думали.

Но думы были тщетны.

Буря, что разыгралась вчера, была последней перед холодами, молнии больше не быть. Без огня в холод смерть.

Тогда послали к дубу трех самых красивых женщин и сказали: там плачьте, там зовите богов в помощь.

И плакать должны, пока не умрут.

Дважды всходило солнце, трижды появлялась луна, – но помощи не было.

Три женщины, плача, умерли у дуба. Но и их жертва не принесла удачи.

Все холодней становилось вокруг, все суровей взвывал за пещерами ветер…

И пал первый снег. И еще. И еще.

От мороза сначала умерли два младенца, потом трое других, за ними старуха, а позже – что ни восход солнца, то новая смерть…

– Ты, Бенчо! – сказали мудрые. – Ты вождь! Скажи, что делать?

– Но вы мудрые! – ответил вождь. – Вы знаете больше!

– Мы не знаем больше! Ты вождь, у тебя сила…

Ничего не ответил вождь. Ничего не спросили мудрые.

5

Тогда, собрав племя, вождь объявил:

– Тот, кто добудет огонь, будет счастлив. Тот получит все, что попросит у племени.

– Всё? – спросил Теко, выйдя вперед.

– Да, воин!

– Я дам вам огонь!

– Ты-ы?.. – пронеслось над племенем.

– Я. Но верно ли ваше обещание, люди?

– О да! – ответил за всех вождь.

– Тогда отдайте мне Сану!

В страхе от этих слов люди племени пали на колени.

Лишь Теко стоял над всеми.

Никто из живых не мог просить Сану. Есть один закон племени: дочь вождя – богу. Другого закона нет. Как придет тепло в восемнадцатый раз в жизни Саны – так быть ей вознесенной на небо.

На огромном костре должны сжечь Сану – иначе проклятие и смерть племени!

6

А Теко стоял над всеми.

Никто не смел просить Сану. А он посмел. Он без нее что племя без огня. Отдадут ему Сану – отдаст и он огонь, будет жить племя. А нет – так всем смерть.

– Мы подумаем! – ответил Бенчо. – Слышишь, воин!

– Да, вождь, – ответил Теко. – Слышу.

7

Три старца и вождь, в отдельной пещере, задумались. И думали долго…

И решили: не могут они отдать дочь вождя.

Но самый мудрый сказал:

– И все-таки у него есть огонь. Но нет Саны.

– Да! – согласились.

– Значит, Теко сильней. Так пусть пока будет сильней!

И решили отдать ему Сану, тем взять у него огонь. Но в тот день, когда в восемнадцатый раз придет для Саны тепло, схватить Теко и огласить приговор: за ложь, за смерть людей племени, за насмешку над их законами – смерть Теко!

И тогда, после смерти Теко, на огромном пламени принесут Сану в жертву богам – и тем искупят вину. И тем спасено будет племя.

На том и порешили.

8

К ночи около всех пещер пылали костры. Люди племени, взявшись за руки, ходили вокруг костров и протяжными, тягучими возгласами выражали свою радость.

– Слава огню! Слава жизни! – пели они.

– Слава, слава!

А Теко, как будто второй вождь, стоял вдали от всех с Саной и улыбался.

Вдвоем, они стояли лицом к лицу, и Теко, подняв тяжелую руку, нежно гладил Сану по плечу.

Потом Теко разорвал на Сане одежду до пояса, но ни к чему не притронулся, а только смотрел.

И ей сказал:

– Смотри, Сана! – и показал на племя. – Они счастливы!

И она посмотрела на людей и ответила:

– Ты дал им счастье!

– Нет, – сказал он, – это ты!

Он поднял Сану на руки и понес в пещеру.

9

А утром новое испытание ожидало людей: Теко и Сана исчезли. Куда могли сбежать эти двое, зачем убежали? – ведь всюду их ждет смерть: без людей, без огня, без крова.

А что будет с племенем? Что ждет его? Смерть и проклятие: они не смогут принести дочь вождя в жертву! И новая печаль застыла над племенем. У них был огонь, но не было надежды.

И снова начали думать старцы и вождь Бенчо, но ничего придумать они не могли. Они выслали бы погоню, но куда послать, в какую сторону, не знали; в какую бы кто ни пошел – смерть везде…

И когда страх совсем сковал людей племени, когда совсем не знали они, что делать с собой, с огнем и надеждами, вдруг один неприметный, но храбрый человек сказал:

– Братья! Будем жить! А там – посмотрим…

Дарья-бессмертная
Быль

Вчера приехал в деревню – здесь горе: умерла Дарья Ивановна Притулина. 93 года старушке, сухонькая, маленькая, сам вечером видел: лежит в гробу, как девочка, держит в тонких руках горящую свечу. А сегодня утром, проснувшись, потянулся к папиросам, выглянул в окно: что такое? – Дарья Ивановна по двору идет, несет на правом плече тяжеленькое такое бревнышко… Меня озноб прошиб: может, спятил я? Толкнул жену в плечо, та глаза распахнула: что такое? Показываю за окно. Жена спросонья не поняла меня: мол, чего спать не даешь, ну, вижу, Дарья Ивановна идет… А как осознала картинку, так закричала на всю избу: «А-а!..» Хорошо, сына с нами не было, а то бы его точно кондрашка хватила.

Я рот-то раз – и закрыл жене ладонью. Кричать перестала, а глаза смотрят в окно – ну точно сумасшедшие: круглые, безумные. Как так?! – вчера Дарья Ивановна в гробу лежала, а сегодня бревна таскает на дворе…

Выбрался я из постели, чиркнул дрожащими руками спичкой, закурил «беломорину». В окно смотреть боюсь, а тянет… Покосился через плечо: нет, точно, Дарья Ивановна как ни в чем не бывало одно за другим бревна носит. Да какие? С такими и здоровый мужик нелегко справится, а она раз только – вспорхнула бревно на плечо и пошла… Баньку, говорят, задумала строить на старости лет, да вот – померла…

Но как – померла?!

Вон она ходит по двору, живей нас с женой будет, молодых…

Вышел я на улицу, рань стоит, даже край солнца не выкатился еще для нового дня… Огибаю наш плетень, подхожу к дому Дарьи Ивановны. Точно – работает. И что удивительно: на ней не шерстяное и новое платье, с темно-бордовой опушкой по манжетам и вороту, в котором вчера лежала в гробу, а обычный сарафан-хламида, любимый ею в работе. Подхожу, говорю:

– Бог в помощь, Дарья Ивановна!

Бревнышко-то шасть с ее плеча – да на землю, в траву.

– Эк, напугал, – проворчала бабка, резко обернувшись и опалив меня гневным взглядом. Но, узнав во мне соседа, который приезжает сюда, в деревню, только редкими летними месяцами, отходчиво улыбнулась. Мы, когда приезжаем, всегда привозим с собой коньяка и угощаем Дарью Ивановну. Она выпьет малую стопку, вспыхнет щеками, поблагодарит и уйдет с поклоном. Иногда говорит: коньяк этот молодость ей напоминает, когда жарко целовалась, – ой, жгучий какой, в краску бросает, как поцелуй… Мы усмехались. Вот старуха: о поцелуях говорит в такие-то годы… Ну и ну!

И сейчас, узнав меня, Дарья Ивановна усмешливо спрашивает:

– Не привез нынче целовального?

– Привез, почему не привез…

– А, видать, думал, не испробовать больше бабке?

– Почему это?

– Дак видел меня в гробу-то? Мертвую?

– Видел. Честно признаюсь – видел.

– Вот. А я сегодня крутанулась, смотрю – в гробу лежу. Батюшки! Баню не достроила, а меня – в чужую домовину. Как это?! Вскочила – да за работу… Рано меня хоронить навострились.

– Нет, а правда, – я присел на крыльцо, стараясь мерным, неторопливым разговором скрыть внутреннюю оторопь, – хоть убейте, Дарья Ивановна, а точно скажу вам: вчера видел вас мертвую. Со свечкой в руках.

– Видел?

– Видел.

– А что ж я живая сегодня?

– Да вот я и не пойму…

– И не поймешь!

– Да, странно… – Я покуривал папиросу, будто ничего необычного не происходило, а сам все спрашивал себя: что же это, а?!

– А ты что, не рад, что ли? Что я живая-то?

– Как не рад! Рад. Да как-то и понять хочется…

– Умереть-то умерла. Точно. И в гробу лежала. Верно. Но, понимаешь ты, я умею крутануться.

– Как крутануться? Откуда?

– Оттуда.

– Нет, вы всерьез это, Дарья Ивановна? Или как?

– Сам видел: вчера мертвая, сегодня живая. Ну?

– Вот я и говорю: чудеса…

– Будто ты чудес до меня не знал. Жизнь-то наша сплошь чудеса. Ты прикинь-ка, Юрьич (полное имя мое – Владислав Юрьевич, фамилия – Петров; я журналист): откуда ты взялся?

– Ну, если вы всерьез, Дарья Ивановна, то меня мать родила.

– Ага, видишь вот, мать. А кого, может, мать обратно брать не хочет. Вот я и могу крутануться.

– Да как это – крутануться?

– А так и крутануться, как я крутанулась. Я, Юрьич, много раз умирала. А все живу. Недаром прозвали меня Дарья-бессмертная.

И это точно: в Подгородней Слободе Дарью Ивановну никто иначе и не называл. Разве только мы, редкие залетные птицы: Дарья Ивановна, да Дарья Ивановна. А местные – только Дарья-бессмертная.

Я говорю:

– Дарья Ивановна, пойдемте ко мне?

– А чего? Идем. Почему нет?.. Идем, идем…

Пот со лба вытерла Дарья Ивановна, улыбнулась помолодевшим ртом, тут как раз солнышко выкатилось из-за горизонта – совсем Дарья Ивановна на девчушку стала похожа: озорная, крепенькая, ладная. Смотрю на нее – глазам своим не верю.

А в избу вошли, жена моя из большой комнаты не выходит – видать, прячется.

– Люсьен, – кричу, – гостья к нам! Где там наша заветная?

Не подает голоса жена. Точно – боится.

Я нахмурился, отдернул занавеску на кровати: никого. Одеяло откинул, а там вместо жены здоровый черный котище. Да как прыгнет на меня! Фу, черт! Напугал до смерти… Совсем забыл я в этот момент, что вчера еще, вечером, пришел он к нам по старой памяти. Котенком прижился однажды у нас, Кушком его сын прозвал, а когда уезжали из деревни в первый раз, оставили Кушка соседям. С тех пор так и повелось: летом Кушок с нами, зимой – у соседей.

Вернулся к Дарье Ивановне, развожу руками: пропала хозяйка. А та радужно машет рукой: ничего, без хозяйки целовальную испробую. Только налил по стопке, в дверь вваливается (у нас тут без стука, без предупреждения) сосед Михаил Савельевич, здоровый мужик с вечно серебристой щетиной на щеках. Человек бывалый и хозяин изрядный.

– Ты чего, – говорит, – жену в исподнем из дому гонишь?

– Как это? – будто не понял я. А сам сразу догадался: сбежала, видать, Люсьен к соседям.

– Из конюшни в дом вхожу, твоя к моей Маруське жмется, грудями трясет.

– В ногах правды нет, присаживайся, Савельич, – показываю на лавку. Сосед отказываться не стал, сел основательно, широко.

– А это, вишь, крутанулась я сегодня – вот хозяйка и испугалась, – сказала Дарья Ивановна.

Савельевич покосился на Дарью Ивановну, но комментировать ее слова не стал. Он, кажется, попривык уже к ее бессмертным повадкам.

Налил я крепкий граненый стакан и Михаилу Савельевичу. Чокнулись мы втроем.

– Ну, за вас, Дарья Ивановна, – произнес я. – За ваше здоровье!

Выпили. Михаил Савельевич закусывать не стал, а только громко, с надсадным кашлем рассмеялся.

– Вот ты, Юрьевич, видать, в первый раз такое видишь, а?

– Что именно-то?

– Да вот как Дарья-бессмертная оживает?

– Если честно, то и в самом деле – в первый.

– То-то и оно, – с победной торжественностью в голосе заключил сосед. Видно было: он гордился, что чудеса эти происходят именно здесь, в Подгоро дней Слободе. – Мне еще мать рассказывала, как Дарья в первый раз утонула. В девках дело было. И как потом вспять вернулась.

– Правда? – спрашиваю у Дарьи Ивановны.

– Где правда, там ложь не пристанет, – подтвердила Дарья Ивановна. Щеки ее после первой целовальной стопки полыхали огнем, глаза угольково горели – если б не знать, что старушке девяносто три года, можно подумать: с нами молодуха сидит, во как!

– Да как дело-то было? – Я, как всякий журналист, хотел деталей, подробностей, оттого и подгонял рассказ.

– Жених у меня был, Степка Златоносов. Младший братец его, Венька, стал в нашем Севе тонуть – Сев-то раньше крутой был, глубокой. Нырнула я за ним, в волоса вцепилась и выпихнула на мель. А сама потонула.

– Как это? – не понял я.

– Как тонут? Нахлебалась воды – да на дно. И нет меня.

– Да вот же вы, сидите!

– Это нынче. А тогда, в четырнадцатом году, потонула. Тридцать три дня меня нигде не было. Уж и Степка свое отгоревал, и матушка с отцом – тоже, а я возьми да и вернись. Сама не знаю, как крутанулась.

– Нет, ну это вы всерьез, что ли? – повернулся я в изумлении к Михаилу Савельевичу. Он мужик серьезный, словом баловаться не любит.

– Вот и мне мать рассказывала: пропала Дарья, утонула. А потом вдруг объявилась в деревне, как с неба свалилась. Поудивлялись-поудивлялись да и свыклись. Степка на Дарье женился, живут себе…

– А где муж-то сейчас? Умер? – грубовато поинтересовался я.

Дарья Ивановна переглянулись с Михаил Савельевичем удивленными взглядами: мол, он и этого не знает, что ли? Чтоб исправить оплошность, я хотел было плеснуть в стопку Дарьи Ивановны премиального коньячку, да старушка шустро опрокинула стакашек вверх дном; вот Михаил Савельевич – тот отказываться не стал, и мы с ним вдвоем подняли стаканы – вновь за здоровье Дарьи Ивановны.

– Степан мой в лесу стоит. Памятником, – ответила наконец на мой вопрос Дарья Ивановна.

Я удивленно изогнул бровь.

– Памятник-то в лесу видел? Где наших мадьяры постреляли? – спросил Михаил Савельевич.

– Как же, знаю, – ответил я.

– Так это Степан Дарьин стоит.

– Вон чего, – ответил я, будто понял что-то, а сам все равно оставался в изрядном недоумении.

– В сорок втором я сам мальчишкой был, но партизанил с мужиками. В ту пору мадьяры гарнизоном в деревне стояли. Потрепали мы их однажды, они старух, баб, детишек в лес загнали – ройте яму, стрелять будем. А не хотите – посылайте гонца за Степаном Златоносовым, командиром партизан. Придет – всех в живых оставим.

– Пришел? – догадался я.

– Пришел, – кивнул Михаил Савельевич; мощный его второй подбородок тяжело колыхнулся в такт кивку. – Поставили Степана к сосенке, а старух, баб, детишек заставили смотреть, как Степан умирать будет. Дарья-то вот вышла из толпы, поцеловала мужа трижды в губы, встала рядом. Вместе их потом зарыли в яму. Бабы зарывали, старухи, ребятишки…

– Но как же… – начал было лепетать я.

– У меня, Юрьич, под каждой лопаткой по две пули. Как звезды на погонах. А одна вот тут, посередке. Хочешь, покажу? – спросила Дарья Ивановна.

Я с подозрением смотрел то на старуху, то на Михаила Савельевича.

– Это она верно говорит, – подтвердил Михаил Савельевич. – Сам видел.

– Да, но…

– Хопп. – верь, Юрьевич, хоть – нет, а на девятый день приползает к нам в отряд Дарья, живая. Пулями прошита, а живая. Из земли возродилась.

– Ага, крутанулась и в тот раз. – И лицо Дарьи Ивановны озарилось чуть ли не счастливой улыбкой.

– С тех пор бабка Дарья много раз умирала, да ни разу еще не умерла. Вот так! – стукнул кулаком по столу сосед.

Я услужливо подлил Михаилу Савельевичу коньяка, да и себе плеснул на донышко.

– Как хотите, – говорю, – но я сам вчера видел, как Дарья Ивановна лежала в гробу. И свечку в руках держала.

– Это ей не впервой, – сказал Михаил Савельевич. И поднял стопку. – Умрет, обмоют ее, в гроб положат. Только зарок знают: семь дней нельзя хоронить Дарью-бессмертную. Полежит мертвая, а потом раз – и опять живая.

– Ну да, крутанусь – и вот опять живехонька, сижу вместе с вами, – рассмеялась Дарья Ивановна.

Я ничего не понимал.

– Но я сам, сам видел… лежите в гробу, свечку держите…

– Точно видел? – спросила Дарья Ивановна.

– Ну точно.

– А что ж я тогда живая?

– Да вот как раз и не пойму…

– Я лежу вчера, слышу: соседи приехали. Ну, спасибо, пришли в дом, оплакали старуху… Потом вспомнила: сколько раз, Юрьич, ты удивлялся, что в наших деревнях бань нет? У вас на Урале – повсюду, а здесь ни одной. Как, мол, так вы живете?

– Точно, удивлялся, – подтвердил я.

– А хозяйка твоя, знаешь, какое слово шепнула мне однажды?

– Какое? – заинтригованно произнес я.

– А такое, что сын у вас есть, а вам еще дочку хочется.

Я так и вспыхнул: вот же глупая жена, нашла о чем секретничать с Дарьей Ивановной.

– И что она мне еще сказала-то…

– Ну? – Краска на моих щеках, чувствовал я, продолжала яро полыхать.

– Виделось ей: как попарится в деревенской баньке, в нашей Подгородней Слободе, так и возгорится ее плоть дочкой. Без баньки, говорит, душа не чистая, трудно жизнь возрождается…

Я слушал Дарью Ивановну с изумлением: непохоже, чтобы моя жена была способна на такие речи…

– Занятно, занятно, – проговорил Михаил Савельевич, и я тут же решил подлить ему коньяка, да он, как и Дарья Ивановна давеча, перевернул свой стакашек вверх дном. Хватит, мол.

– Вот я и крутанулась сегодня, под утро. Думаю: баньку дострою. Попарятся сосед с соседушкой, глядишь – дочка у них займется. А дочка, это, парень, не шути. Дочка – это, выходит, жизнь продолжается…

Тут вдруг громко хлопнула входная дверь, и в избу вошла испуганная и растерянная моя жена Люсьен. Не знала, то ли здороваться с Дарьей Ивановной, то ли прощения просить за свой испуг… Михаил Савельевич сразу поднялся из-за стола: «Мне, – говорит, – надо стадо пасти, спасибо, хозяева, за угощение».

Легко, пружинисто поднялась с лавки и Дарья Ивановна: «Пойду, – говорит, – работа не ждет, баньку надо строить…» И вот так вдвоем вышли они из избы, а жена изумленно и вопрошающе смотрит на меня. Ну а я, глядя на жену, приложил палец к губам, достал бумагу, ручку и быстро записал вот этот рассказ.

Для истории.

Ловушка для Адама и Евы
Современный миф

Стыдно признаться, а грех потаить: бывали такие случаи…
А. Ф. Писемский

Егор глазам своим не поверил: в черемуховых кустах, у самой воды, прятался красный «Москвич»! Бесшумно, как осторожный зверь, Егор юркнул в густоту окружающих зарослей, присел на корточки и, невольно сдерживая дыхание, начал пристально наблюдать за «Москвичом». В машине, однако, не было заметно никаких признаков жизни.

С реки, с крутой ее излучины, дымно клубился туман; и «Москвич», облитый утренней росой, казался нереальным в белесости тумана, казался красным расплывшимся пятном.

Здесь, на изгибе Чусовой, у Егора стояло обычно по две-три вёрши, на разной глубине, и не было дня, чтобы в них не трепыхались то серебристые язи, то крупная плотва, а то широкие подлещики с какой-нибудь мелочью вдобавок: окушки с ершами или неожиданный елец. И вот…

Какое-то время Егор прятался в зарослях лесной чащобы, потом мягко, как кошка, начал ввинчиваться в прогалы кустов, тихо-незаметно приближаясь к «Москвичу». Подкравшись совсем близко, он привстал на цыпочки и заглянул в заднее окно, тут же отпрянув от него: там, в машине, полулёжа, спали в обнимку мужчина и женщина.

«Вас тут только не хватало…»

Егор так же мягко-осторожно, как прежде, вильнул в кусты и вскоре выбрался на тропу, по которой недавно вышел к излучине Чусовой. «К жерлицам, может, сходить? Там проверить?» Но махнул рукой: утренняя ранняя зорька была испорчена…

Проснувшись, Катя тихонько и нежно, как только могла, выскользнула из-под обнявшей ее, отяжелевшей за ночь руки; но только хотела открыть дверцу, как Георгий прошептал:

– Не уходи… – и улыбнулся сонной, детски незащищенной, как бы слегка обиженной улыбкой.

– Здравствуй! – Она ласково поцеловала его в щеку. – Доброе утро, засоня! Проснулся?

– Не уходи… – Он потянулся к ней, обнял и обнимал так крепко, словно боялся, что кто-нибудь чужой может отнять ее у него.

– Посмотри, какое утро! – Она кивнула за окно, и улыбнулась, и негромко засмеялась.

Он открыл окно. В самом деле – вокруг было удивительно: дымящаяся туманом река, изумрудная зелень черемухи по берегам и залитая утренней моросью лужайка перед окнами машины.

– Как странно, – еле слышно проговорил он.

– Что странно? – Она вновь поцеловала его – на этот раз в слабо шевелящиеся, шепчущие губы.

– Странно, – повторил он. – Это все с нами происходит? Это не сон, Катя?

– Нет, не сон. Мы проснулись. Это жизнь, Гоша. Это наша с тобой жизнь.

– И мы никому ничем не обязаны?

– Пойдем лучше умываться, философ. Не надо ни о чем думать. Мы вместе. Мы вдвоем. – Она нажала мизинцем на кончик его носа: – Би, би, приехали, Гоша! Проснись!

– Знаешь, я люблю тебя, – сказал он. И улыбнулся. И потянулся к Кате поцеловать ее.

– А я тебя нет, – нарочно, чтобы подразнить его, сказала она и рассмеялась.

– Как быстро проходит любовь! – Ив улыбке его неожиданно скользнуло что-то грустное, задумчивое…

– Знаешь, что быстро проходит? Слепой дождь. А любовь не проходит никогда. Разве ты не слышал об этом, Гоша?

– Ну, и кто же из нас философ?! – На этот раз они рассмеялись вместе и так, смеясь, выбрались из машины.

И правда: как свежо, как тихо, как первозданно было вокруг; ночью, когда они свернули сюда с городского шоссе, все представлялось совсем иным: и река была черна – даже под светом фар, и лес шумел угрюмо, зловеще, и даже прибрежные заросли черемухи, куда они уткнулись капотом машины, казались огромной паутиной, в которой уж не запутались ли они? И тогда, ночью, Катя предложила не выходить из «Москвича», а дождаться утра в машине…

И вот – такая, оказывается, благодать кругом! Катя скинула босоножки и побежала по лужайке к реке, и тугая роса брызгала из-под ее ног во все стороны серебристо-прозрачным веером. И удивительно: в этот именно миг над излучиной Чусовой загорелся тонкий окраешек солнца, и туман на реке как бы зашипел-заклубился недовольно, будто не хотел уступать рассвету и солнцу ни этого утра, ни этой благодатной сокровенности природного царства.

Георгий быстро сбросил с себя брюки и рубаху и, обгоняя Катю, со всего разбега врезался в реку, нырнув в ее воды с головой. Только брызги полетели по сторонам!

– А я? А меня? Ах ты… – И Катя, бормоча притворно-рассерженные слова, в одну секунду скинула легкий сарафан и бросилась вслед за Георгием.

Ох, вода обжигала холодом! Но это только в первый миг, в первое касание с рекой, а затем горячая ласковая пелена обволакивала все тело, и оно, словно охлёстнутое печным глубоким теплом, как если бы парился в деревенской баньке, занималось ровным внутренним жаром.

Они плыли тихо, неторопливо, размеренным брассом, плыли навстречу восходящему солнцу; туман плавился и редел, и они уже хорошо различали не только противоположный берег реки, но и далеко раскинувшиеся забережные луга, густо заросшие травой, девственные луга. А потом, когда устали, они легли на спину, и слабое ровное течение реки медленно сносило их вниз, разворачивая на излучине и неспешно прибивая к нужному им берегу.

Уставшие, счастливые, они выбрались на луг, который – удивительно – был сух теперь от росы, будто не только что, ну, скажем, полчаса назад не он именно блистал росной влагой, – такое уже поднялось солнце, таким горячим и даже жгучим теплом опахнуло оно луговые травы! И кусты черемухи не изумрудно-влажно, а матовосвежо светились на солнце, и даже красный их «Москвич» не блистал росой, а горел ровным сухим глянцем.

Уснула ночь – здравствуй, утро!

И как странно, как неожиданно враз почувствовали они в себе сосущее нетерпение голода: сколько же они не ели? Пожалуй, со вчерашнего полудня.

– Будем делать костер? – обнимая Катю, спросил Георгий на всякий случай: может, она так голодна, что и костра не сможет дождаться? Хотя костер легко было сделать: на полянке виднелся кружок золы от чьего-то прежнего кострища, да и кое-какие дровишки лежали рядом.

– Конечно, костер, да, да! – кивнула Катя. – Ух, я проголодала-а-ась… – И улыбнулась. – Но я хочу костер, костер, Гоша!

Через пятнадцать минут в котелке кипела речная чистая вода, варились сосиски, которые Катя так предусмотрительно захватила из Москвы; после сосисок, ополоснув котелок, вскипятили свежей воды и заварили душисто-ароматный и терпкий индийский чай.

– Оказывается, ты вон какая практичная женщина! – то ли шутя, то ли всерьез восхитился Георгий.

– А ты гол, как сокол! – в том же тоне парировала Катя.

– Как сокол! – переиначил он, и это показалось им неожиданно смешным и забавным, и они в который раз за это утро радостно рассмеялись.

В самом деле, на сегодняшний день Георгий оказался гол, как сокол: все, что у него было в прежней жизни, осталось в Москве: и квартира, и жена, и дети; единственное, что имелось, – старый «Москвич», оттого и уточнение показалось смешным: «Не гол, как сокол, а как – сокол!» (Хоть «Москвич» остался…)

Впрочем, тут нет ничего удивительного – именно так они и порешили с Мариной: пусть на все четыре стороны катится на дряхлом «Москвиче» («Подавись им!»), но квартира и всё, что накоплено за совместную жизнь, – ей и детям: «Надеюсь, ты не против?» Конечно, он не был против. Он сел в машину, посадил в нее Катю и отправился в Свердловск. Навсегда. В Катину однокомнатную квартиру. Ехали уже три дня; осталось немного, но тут настигла в пути последняя ночь, и они решили свернуть с городского шоссе вот сюда, к Чусовой, переночевать у реки.

После завтрака лежали на траве, болтали, мечтали… Вся ложь жизни осталась позади, впереди – только любовь и правда, правда и любовь, но ведь за это они так упорно боролись и столько перемучились… Господи, какое счастье, что выстояли, выдержали всё: от непонимания и удивления, до презрения и ненависти знакомых, близких и родных, – а теперь… Как хорошо теперь вдвоем, навеки, навсегда, на всю оставшуюся жизнь!

Лежа на животе, блаженно уронив голову на вытянутые вперед руки, Катя неожиданно увидела ну точно перед самым носом спелую крупную землянику; Катя чуть подтянулась на руках и ухватила мягкую сочную плоть губами, разом почувствовав во рту горьковато-зернистую сладость и терпкость ягоды. И тут она увидела еще землянику, и еще, и еще…

– Гоша! – воскликнула Катя. – Ты посмотри: мы лежим в земляничном царстве!

Георгий, задремав после сытного завтрака, заполошно встрепенулся.

– Где? Что? Что ты говоришь?

– Да вон, смотри: земляника! И вон там, и вон дальше, и вон еще, везде, везде, ой, Гоша, сколько ее!

– И правда, – удивился Георгий. – А мы и не заметили.

– Давай наберем земляники? Представляешь, приедем в Свердловск, а у нас – целое ведро ягод! Наварим варенья, а можно немного и насушить земляники – знаешь, я помню, бабушка всегда держала в кладовке сушеную землянику (первое средство от простуды!), или просто закатаем землянику в банки – в собственном соку, а?!

– Ну уж ведро-то нам не собрать, – засомневался Георгий. – Земляника – ягода трудная.

– Да сколько наберем! Какая разница? Вся наша будет.

И они, захватив небольшое ведерко (ведерко нес Георгий, а Катя взяла эмалированную кружку) стали все дальше уходить от «Москвича» в лес. Все прибрежье Чусовой заросло черемушником, но чем дальше от берега, в глубь леса, тем больше высилось прекрасных строевых сосен, а кое-где по опушкам открывались чистые березовые рощицы; так и перемежался лес: то сосна, то береза, а то и небольшой ельничек – видать, лесничьи посадки. День стоял светлый, сухой, солнечный, ни комаров, ни мух, ни слепней – удивительно! – и ходить по лесу было одно блаженство и удовольствие. Иной раз – в виде больших разноцветных ковров – попадались поразительно красочные поляны: сплошные земляничные кусты, раскрашенные бело-желтой (неспелой) или ярко-малиново-красной (спелой) и крупной земляникой. Поллитровую кружку на таких девственных полянах и полянках Катя набирала минут за двадцать, а то и за четверть часа, что, конечно, было благодатью, если кто знает, что такое пойти в лес по трудную ягоду землянику… Ловкая, сноровистая, раскрасневшаяся, в бело-голубом цветастом сарафане, Катя порхала по земляничным полянам, как яркая бабочка, и Георгий с удивлением и даже с каким-то новым,

незнакомым для себя чувством восхищения (он умел любить, но почти не умел восхищаться) наблюдал за Катей; пожалуй, он даже больше наблюдал за ней, чем собирал ягоды,

потому что время от времени, высыпая очередную кружку земляники в его ведерко, Катя восклицала разочарованно:

– Ну, Го-о-оша… что-то у тебя не прибывает… На что он смущенно улыбался:

– Ладно, ладно, это мы еще посмотрим… Ты особенно-то не хвастайся, не хвастайся! – И бросался с истовым азартом брать новую ягоду, но земляника – не та ягода, которая любит натиск, она предпочитает в ягоднике медленное трудное упорство и терпение…

Далеко ли они ушли от машины, они не знали (им казалось – совсем недалеко), но вскоре им странно почудилось, что как-то тихо-незнаком, угрюм и тревожен стал лес: то было светло, и ярко, и солнечно кругом, а тут вдруг – и темней заметно, и сосны гуще, и много тяжелых разлапистых елей, и заросли густого пряного папоротника – чуть не в человеческий рост, и более частое тревожное уханье филина, и какие-то резкие, пронзительные вскрики зловещей птицы (впрочем, это был дергач)…

– Мы не заблудились, лесная царица? – спросил Георгий; он спросил как бы с усмешкой, чтобы не выказать внутренней напряженности. Но Катя, хотя и тоже почувствовала тревожность и беспокойство в душе, ответила легко и беспечно (а как иначе, ведь она у себя дома, на родине, в уральских лесах):

– Тут заблудиться невозможно. Видишь, где наше солнышко? – Она показала рукой вверх, где в маленьком проеме среди верхушек могучих елей виднелся паутинно-веерный кружок солнца. – От него мы должны пойти вон туда, – она показала направление, – и выйдем прямо к нашей машине.

Набрали они к тому времени половину ведерка и решили, что самое время – идти в обратном направлении: как раз, когда выберутся к полянке, может, и ведерко наполнится с верхом.

Видно было, что Георгий воспринял это решение с облегчением, и Катя рассмеялась.

– Уж не боишься ли ты, Гоша?

– С тобой – ничего не боюсь! – Он картинно выпятил грудь. – Но ты же знаешь – я городской на все сто процентов, и мне привычней блуждать по улицам и переулкам, чем по чащобам и зарослям папоротника.

В обратную сторону прошли они минут двадцать, и вдруг Катя увидела – чуть в стороне от тропы – самый настоящий забор деревенского (или лесного?) огорода.

– Смотри-ка! – показала она Георгию.

– Что это? – не совсем понял он.

– Огород! – Она обернулась к Георгию с сияющими восторженностью глазами. – Здесь кто-то живет. Ой, как интересно!

– Ну, живет и живет, пускай живет, – пожал плечами Георгий. – Нам-то какое дело? – Хотя на душе у него стало полегче: теперь-то в любом случае не заблудятся – люди дорогу укажут. Почему так подумал? Потому что хоть и не говорил Кате, но про себя упрямо считал: идут они совсем не в ту сторону, в какую нужно…

Огород был небольшой, соток восемь, безупречно ухоженный: три продольных гряды с картошкой и множество поперечных грядок с морковью, свеклой, луком, редиской, капустой, горохом, разной травой: кинзой, щавелем, салатом, петрушкой, сельдереем; чуть в стороне высился аккуратный парничок, сквозь стекла которого виднелись крупные, но пока зеленые помидоры и мощно-плотная завязь огурцов. Месяц стоял июнь в середине, но ботва картошки, к примеру, была так густа и крепка, что глазам не верилось: неужто такое может быть на Урале в июньские дни? Причем все грядки, включая и поперечные с разной зеленью и овощем, тщательно прополоты, ни одной травиночки, ни единого сорняка, а картошка окучена так высоко и так равномерно-округло-красиво, что просто залюбуешься. И еще: нигде, ни на одном листочке-лепесточке не виделись на картофельной ботве колорадские жуки, эти истинные варвары на нынешних огородах.

Катя восхищенно прицокивала языком, а Георгий, хоть и мало понимал в сельской жизни, тем не менее тоже мог оценить безупречный порядок и чистоту в огороде, а вместе с этим – и его красоту.

– Настоящие хозяева живут! – радовалась Катя так, будто сама имела какое-то отношение к огороду.

– Да и дом, смотри, вон какой! – поддержал ее Георгий.

Действительно, дом, который открывался глазам в конце огорода, был тоже удивителен; совсем не огромные хоромы, не высокий, но богатый росписью и узорами, он больше походил на игрушку, аккуратную и ладную в своей простоте и невеликости. Два окна – на фасад, одно – на огород; окна в зеленых наличниках; тесовая новая крыша; махонькое крыльцо с перильцами; крохотный сарайчик сбоку; и все – обновленное, обшитое свежеструганной гладкой доской. Видно было кое-где – по открывшимся темно-серым бревнам, – что дому немало лет, однако ладность и праздничность его воспринимались оттого, что почти весь он был обшит новой и крепкой шелёвкой. Невольно думалось: как, наверное, прекрасно тут жить – среди лесной красоты и тишины, в покое или в заботах-работе на этом ухоженном огороде, в этом чудном домике, больше похожем на сказочный теремок… А теремком он и потому еще выглядел, что крыша его – тесовая – была высоко-вострекой, непривычной для деревенской избы.

Катя с Георгием подошли к дому: тихо было вокруг, ни звука, ни движения. Присели на крылечко – отдохнуть, перевести дыхание. Рядом, на ступеньки, поставили ведерко с земляникой, так и оставшееся наполовину пустым.

– Может, и нет никого в доме? – предположил Георгий.

Катя поднялась по крыльцу наверх и негромко постучала в дверь: никакого ответа; постучала громче, хотя знала: в деревенские избы не принято стучать, можно просто заходить и окликать хозяев: «Есть кто дома, нет?» И опять никакого движения в доме.

– Может, зайдем? – спросила она у Георгия.

– Пошли. – И он тоже поднялся по ступенькам, оставив на крыльце ведерко с ягодами.

Дверь не была заперта; вошли в небольшие сени, в темноте нащупали ручку второй двери и дернули на себя. Открыто! В избе стоял полумрак; но, странное дело, в этом полумраке сразу, отчетливо вырисовалась худощавая фигура человека – мужчины, который сидел у светлого, ярко освещенного с улицы окна и напряженно – так казалось – смотрел куда-то за окно, вдаль. Напряженность его позы ощущалась по затылку – сурово замершему, неподвижному.

– Здравствуйте, – приветливо произнесла Катя.

– Здравствуйте, – поприветствовал и Георгий и, неожиданно почувствовав горечь во рту, несколько раз прокашлялся.

Никакого ответа, никакого движения,

– Простите, мы тут землянику собирали… – проговорила Катя, переглянувшись с Георгием удивленно-недоуменным взглядом. – Не найдется ли у вас попить?

Опять никакой реакции; мужчина продолжал упорно смотреть в окно, хотя шея его налилась розовой краской. Значит, он слышал их?

– Напиться-то хоть у вас можно?! – уже погрубей, посмелей и довольно громко спросил Георгий.

Снова молчание.

– Эй, товарищ, вы что, не слышите нас? Мы тут ягоды собирали, можно у вас напиться? – еще громче, почти крича проговорил Георгий.

– Не ори, не глухой! – был резкий, неожиданный ответ.

Георгий с Катей с оторопью переглянулись.

– Простите, не дадите ли напиться? – тиховежливо попросила Катя тем мягким, нежным голосом, которым обычно открывала любые замки в любом самом жестком мужском сердце.

– Пошли вон! – вдруг зарычал хозяин и, повернувшись к ним, с яростью повторил: – Вон!

– Простите, но мы…

– Вон! И с реки чтоб убирались! Ясно? А не то я вас… – Он поднялся с табуретки и медленно пошел на них. Глаза его горели бешенством – черные, угольные глаза. Лицо – узкое, продолговатое, с мощно выпирающим подбородком – налилось сероватой бледностью, губы побелели. И странным, и страшным контрастом к лицу была широкая ярко-синяя лента, которая опоясывала его голову с длинными, как бы завитыми на концах черно-смоляными волосами.

Он пошел на них, сжав кулаки, и они невольно попятились, хотя, надо сказать, Георгий не был совсем уж робкого десятка: широкий в плечах, высокий, с крепкими руками, он не раз участвовал в московских передрягах, где, хоть и не доходило ни до чего серьезного, он все же не пасовал. И это главное – не пасовал, и поэтому всегда все заканчивалось благополучно.

А тут – попятились оба.

Хозяин шел на них, а они, как под гипнозом, пятились, так и вышли – задом – на крыльцо, и по крыльцу спускались задом, потому что он продолжал идти на них, словно вот сейчас, на месте, хотел придушить обоих; Катя нечаянно сбила ногой ведро с земляникой, оно покатилось по крыльцу, рассыпая за собой кроваво-красную дорожку, кровавую потому, что оба невольно наступали на ягоды, которые истекали под тяжестью их ног спелой и налитой сочностью.

Внизу Георгий все же подхватил ведро, в котором ягод осталось всего на донышке, и они с Катей разом, как по команде, повернулись и поспешно пошли прочь от дома, как от чумы, как от наваждения.

И вот этого (поспешного своего бегства) очень долго не мог простить себе Георгий: бегства, а значит – трусости своей.

Неужели он трус?

Никогда не думал так о себе; да и не был трусом; но тут что-то такое было во взгляде хозяина, такая властность и – главное – такая неподдельность ненависти к ним, ненависти и ярости, что не подчиниться нельзя было. Но за что ненависть, откуда?!

А кружка эмалированная, в которую собирала землянику Катя, так и осталась на крыльце: без ягод, без воды…

Вчера, второй раз за лето, приходил Паша Востриков, участковый. Посидели, даже выпили немного, но разговора не получилось. Да и мог ли он получиться? Востриков считал Егора (в душе, конечно) не совсем нормальным, верней – не от мира сего, хотя это не мешало участковому относиться к Егору свысока. В самом деле: когда-то они учились вместе, в одном классе, в одной школе-интернате в поселке Северный; Паша тянул лямку еле-еле, но ребята в классе его любили – он был добродушный и покладистый, а Егор, учась на «четверки» и «пятерки», причем легко, без особых внешних усилий, был ядовит, резок, властен, него, конечно, недолюбливали, побаивались. Еще одна черта водилась за Егором: он любил говорить правду. Всем без разбора. Какая бы она ни была. Учителям, родным, одноклассникам. Даже лучшим дружкам своим – Степке и Николе, которые за это еще больше его уважали. (Ну, и остерегались, конечно, тоже – языка его остерегались.) Это ли повлияло на решение Егора (что он любил искать и говорить правду), или что-то другое, но после окончания школы-интерната он легко и просто, казалось бы, поступил в Уральский государственный университет на философский факультет, отчего сразу стал знаменитостью в поселке: еще никогда в Северном не было своих «философов» – никогда за все годы, сколько помнил себя этот обычный заводской поселок, раскинувшийся на склонах холмов и небольших гор недалеко от Свердловска. Пока Егор учился в университете, Паша Востриков успешно закончил свердловскую милицейскую школу и вернулся в родной поселок. И вот уже многие годы работает участковым. Но в чем тут штука-то? Отчего бы это участковому милиционеру относиться свысока к «философу» Егору Малицыну? А соль тут в том, что в начале третьего курса Егор вдруг бросил университет, но в поселок не вернулся, а остался в Свердловске и пошел работать на завод – сначала учеником токаря, но постепенно вырос в первоклассного мастера токарных дел. Жил в Свердл-

ловске в рабочем общежитии, жил много лет, не претендуя ни на что лучшее, слыл молчаливым, скрытным и вспыльчивым. Особенно когда выпивал. Мать в Северном понять не могла (отца у Егора не было, он даже отчество деда носил – Савельевич), что с сыном случилось. Отчего бросил университет? Почему работает на заводе? Чего добивается? Ведь годы идут… А в двадцать шесть лет Егор выкинул последнее коленце: плюнул на завод и вернулся в Северный. Но жить стал не с матерью – куда там! В шести километрах от Северного, на берегу Чусовой, раскинулась вольная деревушка Красная Горка – вот туда и ушел жить Егор Малицын. И не в саму деревеньку, а в одинокий домишко километрах в полутора от деревни; правда, тут есть объяснение: дом этот некогда принадлежал деду Егора, леснику Савелию Малицыну по кличке Азбектфан: корень-то Малицыных отсюда шел, из Лесниковой избушки… Разбил Егор заново огород, подремонтировал-подлатал дом, занялся рыбалкой, охотой – и вот живет здесь бобылем второе лето… А почему Востриков к нему ходит? Потому что он участковый, а порядок должен соблюдаться везде и всегда. Ладно, пусть Егор в Северном прописан, в материном доме, а живет здесь, под Красной Горкой; это ладно, ничего, тут страшного не так много. Другое плохо: где и кем работает Егор? Нигде. Никем. На какой работе числится? Ни на какой. При этом на замечания Вострикова посылает участкового подальше. Как быть Вострикову? Не обращать внимания? Нельзя, непорядок, нехорошо. А дать ход делу? – совесть мешает. Ведь одноклассники все-таки… К тому же – и это самое главное – Егор живет тихо, спокойно, никому не мешает, а трудится – за десятерых: когда бы к нему ни пришел – он весь в работе. Вон огород – сказка. А лес и подлесок в округе? Вычищен и прочищен так, будто это парк ухоженный в каком-нибудь капиталистическом государстве Люксембург. А кто лучший рыбак на Чусовой и Северушке? Опять же – Егор Малицын. Причем сроду у него сетей не водилось, не балует ими. Есть, конечно, одна странность – не любит, чтоб ходили к нему, лезли в его жизнь. И не только сюда, в избушку, а и чтоб в округе никого не было. Впрочем, к нему и не ходят особо. То ли боятся. То ли дичатся его. То ли понять этого человека не могут. Хочется жить одному? Живи. Бог с тобой…

А все ж таки как бы там ни было – в трудовой книжке никакой у него записи. Непорядок. И приходится участковому Вострикову время от времени наведываться сюда: «Как хочешь, Егор, а надо что-то делать, решать… Ведь случись что – кому отвечать? Вострикову!»

– Не трясись ты за свою шкуру, Паша! – сказал вчера Егор, когда сидели и тихо-мирно выпивали, огурчиком закусывали. – Чего тут может случиться?

– А записи нет в трудовой – это как? Тунеядство называется. Ты бы хоть в аренду какую записался… А то живешь, как куркуль-единоличник. В прежние времена с такими, знаешь, как поступали? Ать-два и в дамках!

– Давай, мечтай о прежних временах… Тебя бы первого тогда удавили.

– Как это? Ты, парень, того… говори, да не заговаривайся!

Надо сказать, Павлу Вострикову стукнуло недавно двадцать восемь лет, молодой еще мужик, а разговаривал он – ну как дед старый, верней – языком дедов: протяжно, неспешно, как бы со всегдашним удивлением; и интонации, и словечки – все было, как если бы это не совсем нынешнее, а слегка давешнее время; раньше, лет до двадцати пяти, такого за Востриковым не водилось, а потом вдруг разом – преобразился Павел: видать, почувствовал себя, вошел в колею, которую издревле прокладывали в его роду деды да прадеды.

– А так, – объяснил свою мысль Егор. – Кто сильно старался порядок наводить – того туда же, в петлю пихали: опасный человек.

– Чем опасный?

– А до корней может докопаться. А этого, Паша, ни в какие времена не любят.

– Чувствую, намекаешь на что-то. А не пойму. Ты мне просто скажи: почему не устраиваешься на работу?

– Я работаю. Не видишь? – Егор кивнул за окно – на огород, на Чусовую вдали, на красногорский лес.

– Нет, а официально?

– Не хочу.

– Да ты пойми: если каждый скажет: «Не хочу!» – что тогда будет?

– Если бы каждый работал, как я, больше бы толку было. А так – одна ложь кругом.

– Значит, вся страна за дело взялась, а ты говоришь: ложь?

– Я так не говорил. Не шей мне мыла, Паша!

– Слушай, ну вот если честно: никак я тебя не пойму! – воскликнул Востриков. – Ведь ты умный мужик. Образованный. В университете учился. На заводе работал. И вдруг – бац – бросил все. Ты в своем уме?

– А ты?

– Я-то в своем, – нахмурился участковый. – Но какого хрена ты учиться бросил, убей – не пойму.

– Потому и бросил, что понял: ложь там одна, а не философия. Жить надо, а не лясы точить. Так-то, старшина Востриков!

– Ну да, ты, значит, один правду знаешь, а все остальные – ерундой занимаются?

– Все – не все, а многие. Не умеет человек по правде жить. Не получается. Да и не хочется ему, человеку. Жить по правде – это труд, Востриков, а по лжи-то жить легко. По лжи и лицемерию. Вот человек и живет так. Легче ему, спокойней, сытней. Вот ты себя возьми: тебе лишь бы порядок был. А какой порядок – для тебя все равно. А, может, порядок твой – это сущий бардак как раз, безобразие, противочеловеческое что-то, а?

– Но-но, Егор Савельевич, поосторожней на поворотах! Я к тебе жалеючи, с пониманием, а ты еще оскорблять? Не забывай – я при исполнении служебных обязанностей.

– Вот и катись: лови воров, жуликов, паразитов, прихлебателей – там твое дело! А мне тут нечего голову морочить.

– Значит, так ты ценишь дружеское расположение?

– Друг нашелся! – рассвирепел Егор. – Ты жить спокойно хочешь, кусок свой жевать безмятежно – вот и вся твоя дружба. И пошел ты с такой дружбой знаешь куда?!

Павел Востриков не стал уточнять, куда он должен пойти с такой дружбой, а решительно поднялся из-за стола, одернул резко раздраженными движениями гимнастерку, поправил ремень, нахлобучил фуражку на порядком уже облысевшую голову и, козырнув, угрожающе проговорил:

– Предупреждаю вас в последний раз, товарищ Малицын! Мало того, что живете не по месту прописки, так еще не работаете нигде. Как бы не потянуть на статью за тунеядство!

– Арестуешь – отвечу. А сейчас – катись! – И Егор твердо показал на дверь. Даже не встал из-за стола хозяин.

Несколько секунд, приоткрыв губастый рот, Востриков переживал острую обиду, полоснувшую его по сердцу, но – взял себя в руки и твердым шагом вышел из избы; только бритая шея его густо покраснела.

Да, не получилось разговора…

И не в том дело, что Егор не испугался последствий (Востриков был мягкий и добрый человек, отходчивый, и вряд ли решится на что-то серьезное: совесть замучит), дело в другом – в яростном непонимании, которое разделяло Егора и многих людей, встречавшихся на его пути.

Да что думать об этом! Что мучиться понапрасну!

Егор скинул с себя пиджак, тяжелые лыжные ботинки (весной, летом и осенью – единственно признаваемая им обувь, дешевая и крепкая; зимой предпочитал валенки, «пимы» по-

уральски, – обувку тоже надежную, удобную и теплую) и, босой, в одной майке и легких спортивных шароварах вышел из избы, подхватил тяпку у крыльца и отправился в огород.

Когда ему было не по себе, он всегда лечил душу работой; вот и сейчас: встав на углу картофельной гряды, он начал рядок за рядком окучивать картошку, гордость свою, – картошку густую, ветвистую, но еще маловато поднявшуюся над землей и потому требующую как можно больше воздуха, влаги и рыхлости почвы. Солнце припекало не столь сильно, как совсем недавно, когда приходил участковый Паша Востриков (день клонился к закату), но обильный пот и без того яростно и многоструйчато катился по загорелым бугристым плечам Егора, по его мощной груди, по узкому аскетическому лицу; и даже из-под синей широкой ленты, которой Егор всегда прихватывал густые свои, смоляные и вольные волосы, тоже бисеринками выкатывался пот, слепя глаза; прищурившись, Егор снизу вверх, мощной струей воздуха сдувал пот с бровей и ресниц (не прекращая работы, не отрываясь от тяпки), и бисеринки пота разлетались по сторонам, как прозрачно-оранжевые – от солнца – блестящие шарики.

А когда он работал, он всегда думал; больше того, чем неистовей и увлеченней работал, тем думал глубже и серьезней. Конечно, для всех самым странным его поступком было то, что он бросил когда-то университет. Но как объяснить другим, как быть правильно понятым, что потому и бросил, что заела, замучила вконец совесть. Он учился с упоением, легко схватывал все философские термины, понятия, построения, системы, доктрины. Может, оттого легко, что всегда стремился именно к этому: понять, как устроен мир, где его начало, продолжение и конец, понять стройность и логичность законов, которые управляют жизнью, материей и духом; он буквально находился в эйфории, причем эйфории сознательной, оттого, что незаметно-неприметно, но приобщался к тайнам жизни, к их осознанию и пониманию, и даже казалось порой, что то, что понимает он, больше никто на свете не понимает – не понимает так глубоко, ярко, отчетливо, тут бродили-скользили даже мысли о какой-то избранности, пророческом откровении о самом себе, будто он не только открыватель тайн, но и их творец или, по меньшей мере, сотворец.

Что и говорить: сколько молодых сердец ловила в свои сети голая наука философия – наука осознания, понимания и отражения законов материального и духовного мира. Иллюзия причастности к тому, к чему в действительности ты совершенно непричастен, – вот что тут главное, вот в чем истоки возможных и страшных разочарований.

Именно на третьем курсе это и случилось с Егором – он как бы оглянулся вокруг и заметил, и разобрался, и уразумел: философские системы жизни – это одно, а сама жизнь – совсем другое. Сама жизнь – она кровавая вещь, она из пота и плоти, из хлеба и мяса, из слез и страданий. Он учится, упивается знанием, восторжен и упоен в своей мистической мечте познать глубинные законы жизни и природы, а в то же время, когда он выходит из дверей университета, навстречу ему бредет седая старушка в легком рваном пальтишке, без рукавиц, с озябшими посиневшими руками, а из задубевшей на морозе дешевой кожеми-товой ее сумки торчит сизый хвост окоченевшей скумбрии… Вот когда в первый раз кольнуло твое сердце! Что-то остановило твой бег, как будто ты ударился со всего размаха о чугунную тяжелую дверь или уперся в каменную стену, – но что такое?! почему?! Ты еще ничего не осознал, не разобрался ни в чем, но защемило, защемило твое сердце… и страшная боль, как острая игла, вошла в твою душу.

Ты потом ходил и ходил по улицам зимнего завьюженного Свердловска, тоже в легком и рваном полупальтишке, как и та старушка, но все же ваши пальто – совсем разные вещи… И ее скумбрия – тоже совсем другое, чем твой бедный и скудный обед в студенческой столовой… Тут что-то несопоставимое было, несравнимое и несравненное, хотя оба вы – и бедны, и холодны, и голодны. О, твой голод – совсем другой голод; да и не голоден ты, хотя и сосет постоянно в желудке; это оттого, что ты молод и полон сил, и полон восторженного стремления познавать новые и новые тайны жизни через философию и отвлеченную игру ума; тут совсем

другое пронзило тебя: тебе двадцать первый год (ты прожил уже треть, а может, всего только четверть, а может – и всю половину отпущенного судьбой времени твоей жизни), но… но ты еще никогда и нигде ничего не создавал и не создал! Ты просто нахлебник у жизни, причем нахлебник восторженный, еще ничего не сделавший, не ударивший палец о палец, а у тебя уже все есть: и корка хлеба, и пальто, и комната в общежитии, и множество книг, и эрос твой есть, который мучит тебя по ночам, но ты пытаешься не придавать ему значения, а ведь он – зов жизни и жизни реальной; нет, для тебя ничего не существует реального, жизненного, одна – наука, одна – философия, но чем же кормятся люди, которые занимаются философией? И не только они, а все, кто ничего не делает, ничего не создает, но много болтает, много думает, много восторгается? Они кормятся именно тем, что отобрали вон у той старушки с озябше-посиневшими руками, которыми она держит дешевую кожемитовую сумку с торчащим из нее сизым хвостом окоченевшей скумбрии…

Вот что открылось Егору! Вот какая странная и страшная бездна легла между ним, счастливым студентом, и случайно встреченной старушкой в легком рваном пальтишке.

Да кто же он в этом мире?

Об этом и начал он думать постоянно и мучительно.

Он как будто впервые в жизни всерьез задумался о своей матери, которая всю жизнь работала, не покладая рук, именно так – не покладая рук, двадцать лет кормит его и поит, двадцать лет непритязательно и ненастойчиво внушает ему, что главное в жизни – человеческий труд, а он совершенно ничего не понимал, ни разу не осознал это как истину, как правду жизни, как нечто такое, что выше всего на свете, в том числе выше любой философии и любого отвлеченного размышления. Двадцать лет он живет бездельником, сидит на чужой шее, кормится чужими трудами и при этом относится к себе не только с уважением, но и с любовью, обожанием, восхищением: сама сложность человеческой натуры и способность человека мыслить, а вместе с этим и самообольщаться, – вот что сбило его с толку! Но теперь-то, когда открылось все?! Когда ясно стало, что прежде чем размышлять о жизни, а тем более – судить и философствовать о ней, надо эту жизнь вначале создать, и не чужими руками, а своими, – теперь-то как быть? Продолжать учиться, где не столько учение важно, сколько осознание вот этого: чтобы учиться – вырываю у кого-то кусок хлеба; чтобы одеваться – вырываю у кого-то одежду; чтобы кормиться – тихим сапом «граблю» старушку с окоченевшей скумбрией в сумке; чтобы наслаждаться чтением философских пьянящих «открытий» – лелею в себе трутня и добровольного евнуха; чтобы существовать наконец – обкрадываю, обедняю существование других, ибо всем, что они создают, они вынуждены делиться и с такими, как я, которые пестуют в себе мысль, будто они стоят выше и дальше других, потому что они – мыслят, потому то они – высшая форма существования, форма осознания жизни. Ложь, ложь все это! Философия трутней и бездельников, философия блудящих в слове и в мысли!

Вот такой получился внутренний переворот в Егоре на двадцать первом году жизни.

Но разве мог он кому-нибудь объяснить свое состояние? Тем более объяснить в тех словах и понятиях, которые пришли к нему, сформировались отчетливо гораздо позже, когда он стал старше, опытней, серьезней?

Нет, конечно, не мог; даже себе до конца не мог объяснить всего, что только чувствовал и мучительно ощущал душой и сердцем: жить по-старому нельзя, стыдно, грешно, преступно…

Но для других-то – он оставался прежним Егором. И потому, когда в один прекрасный момент он бросил университет и пошел работать на завод учеником токаря, перейдя жить в рабочее общежитие (домой, в Северный, он не поехал, нарочно остался в Свердловске, чтобы испытать себя, чтобы не слышать вокруг восклицательные и удивленные «ахи» и «охи»), для других-то действительно его поступок был не только непонятен, но – дик, абсурден. Для бывших одноклассников или товарищей по институту – просто очередной «выпендреж», одна из выходок «супермена» Егора Малицына, а вот для матери, для Нины Савельевны, обыкновен-

ной рабочей Северного трубного завода, – это был страшный и неожиданный удар. Всю жизнь она положила на то (ведь отца у Егора не было, воспитывала сына одна), чтобы сын нормально рос, учился, кончил школу, поступил в институт (а ведь он глубже взял – в университет, на философский факультет поступил!), получил высшее образование, стал умным и прекрасным специалистом в своем деле, а потом бы женился, семью завел, порадовал мать на старости лет, – и вдруг бах: университет бросил, домой не едет, устроился на завод, живет в Свердловске, перебивается в рабочем общежитии, – да что с ним?! В уме ли он? Не спятил ли? Какая муха его укусила?

И вот – слегла мать Егора, Нина Савельевна: ноги отказали. До больницы дело дошло. И главное, никак не могла мать понять, чего такого худого сыну сделала, чтобы он мог так сурово «отблагодарить» ее? Конечно, она всю жизнь чувствовала какое-то проклятие на себе, ни мать Тося, ни отец Савелий не любили ее, даже помыкали ею, будто она была виновата, что не удалась их совместная жизнь: Савелий, лесник, почти всегда в избушке своей жил, под Красной Горкой, а мать тут, в Северном, но совершенно не обращала внимания на дочь, будто и не было ее на свете. Странные старики были, сумасшедшие… Может, оттого и забеременела Нина в семнадцать лет, сама не зная от кого (впрочем, Нина знала, да всю жизнь молчала об этом), что была как сиротинушка при живых родителях, а ласки ой как хотелось, и понимания, и человеческого участия… Так и поплатилась за свой безрассудный шаг: одна воспитывала Егорку, которого, надо сказать, не любили ни бабушка Тося, ни дед Савелий. Дочь не любили – и внука не замечали. Странно… Вот и вложила Нина всю свою душу в сына-сиротинушку, думала – человеком вырастет, гордилась им, а он – вон какую штуку выкинул… Может, наказание это Нине за всю ее грешную и тяжелую жизнь? И вот слегла она, ноги отказали… До больницы дело дошло.

Впрочем, месяц полежала – сбежала домой на собственных ногах. Ни матери, ни отца давно в живых нет, а хозяйство дома не ждет… И что удивительно: через два месяца ноги у Нины Савельевны совсем отошли, вновь себя вспомнила, может, даже и бойчей бегать стала, чем прежде, да и сердце у нее выровнялось, перестало пошаливать, – а причиной всего было то, наверное, что Егор не сдался в своем упорстве, наоборот – утвердился в мысли, что делает все правильно, да и мать заверил: «Учиться не вернусь! Хоть режь. Работать буду. Рабочим…»

Мать смотрит, он и впрямь неплохо работает, из учеников выбился в токари высшего разряда, получает хорошо, даже матери помогает, не пьет, не курит, не балует, серьезный, спокойный, вот только суров и молчалив не по годам, а так – ничего страшного. Авось перебесится малый? На это она и надеялась…

…Закончив окучивать (а окучивал он часа два кряду, не разгибая спины), Егор подошел к колодцу, достал полнехонькое ведро ледяной воды и, в чем был, не раздеваясь, окатил себя водой с головы до пят. Обожгло всего, как раскаленным металлом (аж паром задымилось тело), но лед и пламень – по ощущению – тут же прошли, и все тело Егора словно накрыло волной глубокого нутряного тепла, которое охватило, кажется, каждую клеточку, каждую потаённую глубинку могучего закаленного организма.

Егор стоял, мокрый, горячий, пышущий паром – и улыбался; он редко улыбался, надо сказать. И вот – улыбался сейчас.

Вскоре, сняв с себя мокрую одежду, зашел в избу, крепко и жестко растерся свернутым в жгут махровым полотенцем, и тело его еще больше заиграло огнем и жаром. Затем надел сухое белье, свежую хлопчатобумажную рубашку, простецкие рыбацкие штаны и, разогрев на плите щи, сел за стол. Ни выпивать, ни закусывать не стал (хотя на столе оставалось еще после визита старшины милиции Паши Вострикова), а методично, размеренно, отламывая огромные ломти пахучего ржаного хлеба, начал хлебать горячие, остро отдающие приправой и красным перцем щи. Аж испарина на лбу выступила. Хлебал долго, методично; больше всего на свете Егор любил горячие наваристые щи и готовил их, естественно, всегда сам, с удовольствием

готовил, со знанием дела, с любовью. У него могло не быть второго, бог с ним, но без щей, без борща или ухи – без этого он жить не мог. Наевшись (а съел он не меньше половины трехлитровой кастрюли), Егор вышел на крыльцо; яркое солнце садилось уже за дальний сосняк, и это было самое время, чтобы идти и ставить на Чусовой донки, жерлицы и вёрши (на Урале их называют «мордами»): по всем приметам – по красному кругу солнца, по ясной синеве далей, по паутинно дрожащему вблизи воздуху – ночью должен быть отменный клев, а значит завтра к утру будет хороший улов.

Егор начал собираться на рыбалку.

По тропе, которая вела от дома к реке, Катя с Георгием – удивительное дело – минут за десять добрались до прибрежной лужайки, до своего «Москвича»; значит, расположились они совсем недалеко от этого негостеприимного жилища с его диким, невменяемым хозяином. Может, он их перепутал с кем-то? Что плохого они сделали ему? Почему с такой яростью, ненавистью, бешенством он набросился на них? Нет, тут что-то не так, наверняка он принял их за кого-то, кто были его врагами. Но за кого? За каких врагов?

– Идиот какой-то, – бормотал Георгий. – Ненормальный…

– Чтобы так отвечать женщине… – чуть не плача говорила Катя, – нет, такого со мной еще не было…

– Да пропади он пропадом! Попался бы он мне в городе, я бы ему за такое… – храбрился задним числом Георгий, хотя знал: он просто-напросто испугался мужика, его натиска, напора, ярости. И от этого на душе было вдвойне погано – что испугался, спасовал. Но с другой стороны, что он мог сделать? Тем более они вошли в чужой дом без спросу, без приглашения…

Они быстро собирали в машину все, что оставили на поляне после завтрака: вилки, котелок, металлические тарелки, коробку с чаем, кружки; весь мусор сожгли, а золу аккуратно притоптали; вообще оставили после себя идеальный порядок, чтобы все выглядело так, будто и не ночевал здесь никто, не валил сухостой для костра, не обижал природу.

И вот, когда машина была готова к отъезду, Катя опустилась на колени в прибрежную густую траву и, закрыв лицо ладонями, неожиданно разрыдалась. Она плакала и повторяла:

– Нет, мы не можем так просто уехать… Это какое-то предательство, предательство самих себя, Гоша… Что мы ему сделали? За что он нас? Как мы можем жить дальше, зная, что нам ни за что ни про что плюнули в самую душу? Мы должны выяснить, разобраться… Ведь мы всегда с тобой старались быть честными, справедливыми, и вдруг… За что, за что, Гоша?

Георгий присел рядом с ней, обнял, осторожно гладил ее волосы, пахнущие утренней рекой, и успокаивал:

– Не надо, Катюша, не плачь… Тут просто какое-то недоразумение… просто нелепость какая-то. Ну, что ты мучаешься? Мало ли идиотов на свете… Ты лучше вспомни: мы с тобой теперь вместе, навсегда… Вот что самое главное.

– Но как же, Гоша, – продолжала она плакать, – как мы будем после этого жить? Ты сам не раз повторял: главное – выяснить в человеческих отношениях все до конца, тогда не остается ни фальши, ни вражды, ни ненависти…

– Да, я говорил это, имея в виду наши с тобой отношения с Мариной, понимаешь? Там совсем другое… А здесь: да просто ненормальный попался, грубиян, человеконенавистник…

– Человеконенавистник? Откуда ты знаешь? И за что ему так ненавидеть людей, если он на первого встречного-поперечного бросается, как на врагов? Тут что-то не то, Гоша, понимаешь, я чувствую, что-то не так. И не можем мы просто уехать, не выяснив этого.

– Да что ты предлагаешь, маленькая? – продолжал он гладить ее и успокаивать.

– Может, нам вернуться к нему? Попробовать поговорить? Объясниться?

– Исключено! – наотрез отказался Георгий. – Ты разве не видела? Он ненормальный.

– Ты просто боишься, Гоша…

– Да, боюсь. Пусть боюсь. И не хочу скрывать от тебя этого! – Голос у Георгия зазвенел раздражением и обидой. – Ты знаешь меня: я не из трусливых, но «против лома нет приема», как говорят московские хулиганы. Мы к нему с беседой, а он нам головы проломит – что тогда? Откуда нам знать, что это за тип? Что у него в голове делается?

– И вот так, с плевком в душе, мы начнем нашу с тобой совместную семейную жизнь?! – Катя оторвала ладони от лица и с болью, с ужасом заглянула Георгию в глаза.

– Причем здесь наша совместная жизнь – и этот ненормальный?

– А при том, Гоша, что если мы сейчас уедем – нам плохо будет, мы словно бежим от какой-то правды, от какой-то ужасной тайны – без понимания, без попытки вникнуть в нее, принять или отринуть. Нас оскорбили? Унизили? И вот – мы бежим? Как же так, Гоша? Это не по-человечески… Ведь тебя дома, в Москве, сколько унижали и оскорбляли, – разве ты просто плюнул и уехал? Ты объяснился. А, объяснившись, ты снял грех не только с души Марины, но и нашей с тобой. Разве не так? Нельзя принимать оскорблений и унижений безответно – от этого умирает, нищает душа, разве я не права, Гоша? Ты хочешь жить по правде, и я полюбила тебя за это, за правду, за муки твои, и вдруг – не обращать теперь внимания на ложь и оговор? На беспричинную ненависть и недоброжелательность?

И Георгий задумался…

В самом деле, то, что соединило их вместе, его и Катю, было общее стремление к правде. Как он мучился когда-то, когда в первый раз изменил жене Марине, изменил именно с Катей, приехавшей в Москву в командировку в то самое министерство, где работал тогда и Георгий. Но оказалось – он изменил не жене, а изменил лжи, с которой мирился долгие-долгие годы. За двадцать семь лет жизни он так погряз в этой лжи, что не мог думать о себе, кроме как о пропащем человеке, и вдруг встреча с Катей, которая все перевернула в нем. Верней – все поставила на свои места. Оказывается, не он – лжец, а лжива та жизнь, которую он хочет во что бы то ни стало представить в своих и чужих глазах, как вполне добропорядочную и незыблемую семейную жизнь. Он женился на Марине в двадцать один год, только-только окончив институт, придя рядовым инженером в министерство черной металлургии, в котором Марина работала машинисткой. Он часто приносил ей разные бумаги на перепечатку, и вот так между делом, грустная и печальная, Марина поведала ему историю своей жизни, историю о том, какие бывают подлецы-мужчины и какие от этого получаются страдалицы-женщины и страдальцы-дети. В семнадцать лет ее соблазнил референт министра, обещал золотые горы, а когда, естественно, она забеременела, бросил ее, сказав: «Мы так не договаривались». Сейчас ей двадцать, у нее на руках трехлетняя дочь, и хотя, слава Богу, министерство выделило ей однокомнатную квартиру, Марина считает себя самой несчастной женщиной на свете. Почему? Потому что обманута. Одинока. И не на что больше надеяться. Кому она нужна с ребенком на руках? О, она знала тогда, догадывалась, понимала, в какую душу вливает свой яд, потому что Георгий был ясен с первой минуты: вот человек, который страдает уже оттого, что кто-то страдает с ним рядом. И, конечно, сам того не понимая, не сознавая до конца, он однажды оказался в гостях у Марины, восхитился ее дочкой (прекрасная белокурая бестия с голубыми глазами и алым бантом в волосах), стал жалеть ее, как жалел и Марину, приносить подарки и куклы, и в конце концов, незаметно для себя, стал числиться в министерстве женихом Марины, после чего и деваться было некуда: женился на ней. Сколько прожили вместе? Шесть лет. За эти годы родился второй ребенок, сын Алешка, который был поразительно похож на сестру – такой же белокурый, голубоглазый и смешливый. Как радовался и гордился своим сыном Георгий! Сколько сил и труда, любви и преданности вложил в маленькую его душу! Но – удивительное дело: чем больше он делал для семьи, для Марины, для детей, тем больше Марина помыкала Георгием. И не просто помыкала, а как бы ненавидела его, терзала за любую мелочь, за любую оплошность. Он понять ничего не мог, мучился, страдал, пытался объясниться с женой – только хуже выходило.

– Тут дело такое, – сказал ему как-то Володь-ка Першинов, знакомый художник, с которым они в детстве в школе-интернате учились, – не любят бабы дураков. Вот что.

– Я дурак? – не понял Георгий.

– Ты.

– Почему это я дурак? – Георгий не на шутку обиделся.

– А ты вглядись в себя хорошенько. В зеркало посмотри.

Но вглядеться в зеркало, по мнению Георгия, надо было не ему, а Володьке Першинову: вечно пьяный, взлохмаченный, грязный, одни ухмылки да усмешки на уме, а результат? – ни семьи, ни детей, ни денег, ни одной настоящей картины.

– Художнику семья не нужна. Деньги не нужны. Слава не нужна. Ему свобода нужна. А вот что нужно любому мужику – это ум. Видеть надо вокруг, понимать кое-что, Гоша. Так-то!

Что-то похожее ему и на работе твердили, странные смешки он слышал иногда за спиной, какие-то намеки, слухи, сплетни вились вокруг него, как пчелы вокруг меда, он ничего не понимал, только удивлялся. И об этом своем удивлении и непонимании рассказывал Марине, которая, не дослушав его, приходила обычно в такую ярость, что даже глаза ее белели: «Нет, ты мне скажи, ты действительно идиот или только притворяешься блаженным?!»

Он ничего не понимал. То есть не понимал вот этого: от сплетен приходила в ярость жена или от его слов?

И тогда однажды, в пылу истеричного срыва, Марина закричала мужу:

– Даты посмотри, олух, посмотри внимательно, на кого похож твой любимый сын? Неужели можно быть таким идиотом, чтобы не видеть: он же вылитый Сергей Сергеевич!

(Сергей Сергеевич – это тот референт, который когда-то соблазнил Марину и от которого она родила Светлану.)

Вот так наконец открылась простая и страшная тайна: оказывается, и выйдя замуж за Георгия, Марина продолжала встречаться с референтом, о чем знали или догадывались на работе все, кроме Георгия (как в анекдоте: муж узнает последним); но анекдот – это анекдот, а жизнь – это жизнь. И свалила эта правда Георгия в постель: две недели лежал в больнице с нервным кризом, никак не мог уяснить до конца мысль, что Алешка – вовсе не его сын, а Сергея Сергеевича, по-прежнему аккуратного и исполнительного, ослепительного в своей белозубой улыбке референта министра.

Тогда-то, в больнице, Георгий и пришел к заключению, что жить по лжи – это преступление; жить нужно по правде. Но как жить по правде, если вокруг – одна ложь? Он не остыл к детям, не оттолкнул их, но что-то в нем надорвалось, какая-то струна счастья и удовлетворения жизнью в семье, с детьми, ради детей – лопнула.

Он ходил на работу, жил как во сне, приносил деньги домой, не запил, не загулял, но словно омертвел заживо, замкнулся, закрылся в своей душе плотно. Тогда он еще не пришел к выводу, что, как бы ни было тяжело в жизни, нужно выяснять отношения до конца, тогда ложь лопается и не остается между людьми ни фальши, ни вражды, ни ненависти… Это пришло к нему позже, и не к нему одному, а к ним с Катей вместе. Ведь в то как раз время, год назад, тяжелое, страшное время для Георгия, и приехала в министерство в командировку молоденькая инженерша из Свердловска; все вопросы – так совпало – пришлось решать ей с Георгием, и поразило ее в нем то, что он был совершенно не таков, как все: ни разу не сказал ни одного пошлого и двусмысленного слова, ничего не предлагал и ни на что не намекал, не шутил, не заигрывал, а был прост, вежлив, сосредоточен и в то же время – как бы за тысячи километров от всего, что творилось в отделе, в министерстве, вообще в мире. Он был бледен, худ, глаза глубоко запали, и столько в них угадывалось страдания и муки, столько боли и горечи, что однажды Катя не выдержала и прямо спросила его:

– У вас случилось что-то тяжелое?

Он посмотрел на нее с непониманием, потом с удивлением.

– Да? – повторила она вопрос.

И поскольку он решил к тому времени, что ложь – преступление и что жить нужно по правде, ему пришлось искренне ответить:

– Да.

– Вы знаете, я замечала, – сказала она, – тот, кто страдает, становится очень красивым человеком. Вы удивительно красивый. У вас красивое лицо. И красивая душа. Да, да! – Она сама не понимала, почему, с какой стати, на каком основании говорит ему эти слова, и очень испугалась, что сейчас он может рассердиться и перестать разговаривать с ней.

А он смотрел на нее и ничего не понимал.

Какие странные, удивительные слова говорит ему эта молодая женщина. Кто она? Откуда взялась? Почему так разговаривает с ним?

– Я живу в Свердловске, вместе с бабушкой, – как будто услышав его, объяснила она. – И вот знаете, мне бабушка всегда говорит: главное в жизни – любовь, и назначение женщины – любить, но любить она должна только красивого душой человека.

(В то время, в прошлом году, бабушка Кати была еще жива, но вот недавно, весной, умерла; умерла с легким сердцем: она знала, – Катя открылась ей, – что внучка наконец встретила именно такого человека.)

– Как зовут вашу бабушку? – спросил тогда Георгий.

– Так же, как и меня, Екатерина, Екатерина Ивановна, – ответила Катя.

– У вас такая удивительная бабушка.

– Правда? – улыбнулась Катя озарённой улыбкой.

– Правда.

С работы, из министерства, они вышли вместе, и направились в сторону министерской гостиницы, где жила Катя; отчего и почему, Георгий и сам не знал, но рассказал вдруг Кате все, что было его жизненным крестом и камнем.

– Ах, как хорошо, – сказала Катя, – что я никогда не видела ваших детей.

– Что же тут хорошего? – не понял Георгий.

– Когда видишь детей – их всегда жалко. Но жалость затуманивает правду о мужчине.

– Что же это за правда о мужчине?

– Правда такая: мужчина рождается для того, чтобы растить своих, а не чужих детей. Так мне всегда говорит бабушка.

Георгий, удивленный и пораженный, какое-то время молчал.

– Да, в самом деле, Катя, у вас необыкновенная бабушка, – наконец задумчиво проговорил он. – Я люблю своих детей. Но я жить не могу, места себе не нахожу, потому что они не мои. Я воспитываю чужих детей. Это страшно.

– Страшно не это. Страшно то, что и вы, и они – живете во лжи. Ложь разрушает жизнь, любовь, красоту. Ложь разрушает все. Вы не должны допускать этого.

– Но что я могу сделать?

– Вы сами недавно говорили: истина в том, чтобы жить по правде. Живите по правде.

– Да где эта правда?

– Вас должны любить, а не обманывать. И тогда родится ваш ребенок. Собственный. Ваш сын. В этом и будет счастье и правда жизни.

Он опять, в который раз за сегодняшний день, посмотрел на нее удивленно и пораженно. Сколько ей лет? Скоро двадцать два года. Странно…

Но потом, в течение долгого года, когда волна сближения неминуемо вынесла их на гребень взаимной любви, он все-таки страшно мучился, когда изменил жене Марине в первый раз. И хотя Катя горячо убеждала его, что он изменил не жене, а изменил лжи, с которой мучился долгие-долгие годы, он все же понимал: он изменил не только жене, но и как бы всей прежней жизни разом, подвел какую-то черту, пришел к какому-то первому итогу в жизни, и итог

этот был малоутешителен: семья разрушена, дети чужие… И когда Катя, как озарение, предложила Георгию бросить все, уехать в Свердловск и начать новую жизнь, он не поверил, что есть, оказывается, и такой выход. Но бросить Москву? Квартиру? Семью? Детей? Он должен был всерьез поговорить с женой, чтобы она дала согласие на развод, он должен был выяснить с Мариной отношения до конца, чтобы между ними не осталось фальши, вражды и ненависти, и на весь его горячий монолог Марина ответила презрительным согласием-усмешкой: «Развод? Пожалуйста! Только не забудь про алименты – и катись на все четыре стороны! Можешь даже на дряхлом своем «Москвиче». А квартира и все, что накоплено за совместную жизнь, – мне и детям. Надеюсь, ты не против?!» Конечно, он был не против. Он сел в машину, посадил в нее Катю и помчался в Свердловск. Навсегда. В Катину однокомнатную квартиру. Но прежде чем он уехал, Володька Першинов, знакомый художник, с которым они когда-то вместе учились в школе-интернате, сказал Георгию, попивая водочку и не закусывая даже огурцом:

– А ты, оказывается, не просто дурак, а еще и подлец отменный!

Чего, конечно, Георгий никак не мог понять и очень поразился.

И взлохмаченный, небритый, не имеющий денег и славы, но любящий свободу художник объяснил ему свою мысль, не забывая при этом пить водку, которой на прощание угощал его Георгий.

– А подлец потому, дорогой Гоша, что правдолюбцы – они большие негодяи на поверку выходят. О, ты прав, конечно, и правда на твоей стороне, ты чист, Гоша, как детская слеза, но вот дети твои, Светка с Алешкой, они в вашей демагогии не разбираются: им что правда, что ложь – одинаково, им главное – ты их отец, они тебя отцом считают, папой называют, а ты…

– Но они мне чужие. Они не мои… Марина обманула меня… надругалась…

– А тебе, значит, главное, чтоб они из твоей капельки вышли? Чтобы обязательно из малюсенькой твоей капельки? А что ты сиротами их делаешь – это ничего? Они-то для тебя, может, и чужие, но ты-то для них – родной. Родной отец! Откуда там их мать взяла, из твоей или чужой капельки, они не знают, не ведают, не доросли еще, а вот что отец бросает их – это им понятно. Это им сердце рвет, Гоша!

– А мне – не рвет?

– Тебе – не рвет. Не рвет, раз правду свою так бережно лелеешь. Да и потом, Гошенька, не забывай, разве мало ты бывал и наслаждался в лоне жены своей?! А дети твои из того же лона вышли, оттуда же, откуда ты годами черпал усладу и каждодневное вдохновение. Так что правда твоя – с кровоточинкой. Ох, поплачешь еще, попортит тебе жизнь кровушку. Таких-то, как ты, которые с правдой носятся, как с писаной торбой, их жизнь крепко по голове бьет! Правдолюбцы – они хуже воров, обкрадывают жизнь, высасывают из нее живительные соки.

Слушал все это Георгий с оторопью, вроде понимая и не понимая Володю Першинова, но отступать и каяться было поздно – прощание неминуемо надвигалось… К тому же Катя не раз предупреждала Георгия, что тысячи людей будут говорить ему, будто он безумец, но слушать никого нельзя, потому что на лжи, какой бы она ни была – приглядной или чудовищной, нельзя построить ничьего счастья: ни своего собственного, ни счастья детей. И с этим Георгий был согласен.

Вот так они и уехали. Четыре дня назад. А вчерашнюю ночь провели здесь, на берегу Чусовой, – совсем немного до дому не добрались, до Свердловска.

И вот – эта неожиданная встреча с невменяемым – по-другому не скажешь – хозяином лесной избушки. Кто он? Почему с такой яростью и бешенством набросился на них?

– Идиот какой-то, – бормотал Георгий. – Ненормальный…

– Нет, мы не можем так просто уехать, Гоша, – как в заклинании повторяла Катя. – Это будет предательство, предательство самих себя. Что мы ему сделали? За что он нас? Как мы сможем жить дальше, зная, что нам ни за что ни про что плюнули в самую душу? Мы должны выяснить, разобраться…

– Что ты предлагаешь, маленькая? – пытался он ее успокоить.

– Может, нам вернуться к нему? Попробовать поговорить? Объясниться? Если мы сейчас уедем, нам плохо будет, мы словно убежим от какой-то правды, от какой-то ужасной тайны – без понимания, без попытки даже вникнуть в нее, принять или отринуть. Нас оскорбили? Унизили? И вот – мы бежим? Как же так, Гоша?!

И она уговорила Георгия: все-таки пока остаться здесь, у реки. Подумать. Взвесить все. Успокоиться наконец…

Да, к тому времени, к вечеру, когда Егор закончил окучивать картошку и начал собираться на рыбалку, он, кажется, совсем выбросил из головы сегодняшний приход участкового. Нечасто навещал его Паша Востриков, но все-таки визиты его раздражали, бередили душу. Чего шляется, спрашивается?

Хотя, с другой стороны, все понятно: о себе печется Востриков, о том, чтобы порядок и спокойствие были на его участке.

Ну, да ладно, черт с ним, хватит о Пашке думать!

Егор подхватил рюкзак со снастями, длинные ореховые удилища и, умиротворенный горячей работой на огороде, а затем сытным вкусным обедом, отправился по тропинке к реке.

Здесь, на Чусовой, у него много заветных мест, но все же больше других он любил одну прибрежную поляну: на излете ее река делала крутой поворот и утекала в долгие видимые дали голубой извилистой змейкой; сядешь на поляне, забросишь удочку, а сам смотришь то на эту убегающую ленту реки, то на противоположный ее берег, где – редко для здешних, заросших черемушником мест – открывались широкие густотравные луга, усыпанные, как вот сейчас в июне, бело-желтыми ромашками. Удивительно смотреть, как в ранний предбудный час, когда трава омыта росой и луга на том берегу сплошь зеленые, они, эти луга, начинают преображаться, как только над излучиной реки подымается солнце: ромашки, к ночи закрывшие свой желто-белый наряд, с первыми лучами солнца вновь расправляют белые широкие лепестки, лукаво и игриво выглядывая из своего бело-веерного оперения. Или, наоборот, к вечеру, с заходом уставшего за день солнца, начинают прятать желтые головки в белых лепестках, а потом и вовсе закрываются зеленым исподним опушьем, и весь луг, будто и не было на нем никаких ромашек, вновь превращается в одну колышащуюся зеленую ниву.

На этой поляне, на излучине Чусовой, Егор обычно ставил несколько вёршей-плетух – на разной глубине. А корм набивал самый пестрый: от густоароматного распаренного гороха или разваренного геркулеса до обычной хлебной корки или связки крупных дождевых червей; оттого и рыба шла к нему всякая: от лещей и язей до окуней и ершей.

Вот и в тот раз, придя на заветное место, Егор в первую очередь управился с плетушками, забросил их на разную глубину по всей линии прибрежной низины; кстати, кто не знает, никогда не найдет вёрши: колышки, к которым Егор привязывал бечевку, он вбивал так, чтобы они были не на берегу, а в воде, и чтобы полностью скрывались в ней; так учил делать еще дед Савелий, в далеком детстве, и казалось внуку, что он совершенно не помнил этого, а вот пришлось жить одному, на реке, в дедовой избе, и сразу все вспомнилось, выплыло из туманной дали подсознания ли, памяти ли родовой – кто знает?..

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.